

---

---

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

---

---





## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Счастливы тот, кому удастся сохранить своих друзей от дней юности до могилы. Я часто горюю, что растерял их. Жизнь вбила клинья между нами, и многие стали моими врагами, а другие ко мне равнодушны, как и я к ним. Впрочем, мы иногда встречаемся на шумной улице, виновато кланяемся и быстро расходимся. Мне было жалко, что я потерял Александра Гордона, и я уже не думал о том, что когда-нибудь с ним встречу, если бы не случайная поездка в Литин, которую я совершил в 1932 году.

По делам службы пришлось мне объехать еврейские местечки на Подолии. Я побывал в Немирове, в Браилове, в Жмеринке и Деражне, затем заночевал в Виннице и взял место в почтовый автобус, уходящий в Литин.

Было лето. На полях поспевала пшеница, темнела свекла. Хороша дорога в Литин! Два ряда дубов и лип, высоких и тенистых, выстроились по сторонам. На придорожных огородах валяются на солнцепеке полосатые арбузы и желтеющие дыни. Выдаются своей удивительной величиной тыквы. Склонилась набок от тяжести шапка подсолнуха. Машина бежит среди

белых домиков, отгороженных заборами из ивовых прутьев. Иногда на дорогу выскочит мальчуган из деревенской почты и подхватит сумку с письмами. Когда налетит ветер, липы обсыпят нас своей листвой. Машина идет в Литину...

Каким грустным показался мне этот городишко! Я увидел дома с поваленными колоннами. Во многих хатенках были выбиты окна. Покривились крыльца, ободрались крыши. Я подумал: «Мертвый город».

Я бродил по Литину и всюду видел картину увядания. И только после того как я обошел многие дома и познакомился со многими семьями, эта печальнейшая на первый взгляд картина увядания стала для меня поэмой радости. Я узнал, что местечку пришел конец. В самом деле, город без промышленности, деревня без сельского хозяйства — как могла в наши дни существовать такая нелепая экономическая единица! В каждом доме жили жизнью отраженной. На стенах висели снимки сыновей и дочерей, внуков и внучек. Они работают в Харькове, в Керчи, в Днепропетровске, они учатся в Киеве, Москве, в Одессе, Полтаве, в Криворожье, они уехали в Биробиджан, в крымские колхозы, в национальные районы на Украине. Они посылают домой посылки и деньги. Иные выписали своих стариков и детей, другие еще не обзавелись квартирами и мебелью и просят подождать. Тогда я понял, что если считать литинцами всех этих людей, бытовавших в домах в виде фотографических карточек, окажется, что в Литине живут сотни слесарей, трактористов, полеводов, пасечников, агрономов, студентов, машинистов и инженеров. И если другие местечки, где я побывал, становились либо городами, либо деревнями, то из Литина, не ставшего ни тем, ни другим, население бежало.

Живя в Литине, я вспомнил: отсюда родом друг моего друга, Александра Гордона, Герш Гублер. Я спросил:

— Нет ли тут такой фамилии?

— Есть. Рядом с сельсоветом.

В темном и полуразвалившемся доме жила старуха



Хана Гублер. Про нее в местечке говорили, что у нее есть ножная машина «Зингер», и она шьет детское белье. Я поразился опрятности этой старой женщины. На ней была белая кофта и черная, хорошо выутюженная юбка. Ботинки она не имела, но галоши, которые она носила вместо них, были чисто вымыты и даже блестящи. Я спросил: та ли самая она Гублер, что имеет сына в Палестине. Она продолжала строчить, и я поймал ее взгляд исподлобья. Я повторил вопрос: его зовут Герш. Герш Гублер из Литина. Вероятно, она — его мать.

— Зачем это вам? — испуганно сказала Хана Гублер и остановила машинку.

— Собственно, никакого дела...

Прошло не менее десяти минут пока я расположил к себе швею, и она, наконец, со вздохом сказала:

— Что же из того, что мой Герш в Палестине? Вы думаете, Палестина — большое удовольствие?

— Нет, я так не думаю. Но у меня есть друг, и этот друг является другом вашего сына. Понимает ли уважаемая Хана Гублер?..

— Нет, — сказала швея, — Палестина — это не Америка. Вот другие имеют детей в Америке и получают иногда торгсиновские боны, а Герш? Я ничего от него не имею. Вы думаете, это — плохой сын? Смею вас уверить, не сынок, а золото. Дай бог вам такого!

Швея с достоинством рассказала мне, как ее мальчик сражался с бандой Шепелева. Был здесь такой гимназист; в 1918 году он собрал несколько десятков человек, вооружил их и объявил свою программу. Программа оказалась невразумительной, и ее никто не понял: ни украинцы, ни евреи. Но последние, однако, уяснили себе один пункт: Шепелев будет их уничтожать. Выбитый из последних подступов к Литину, гимназист заявил местечку, что отступать он собирается завтра и что его отступление, вынужденное атакой красновардейского отряда из Винницы, дорого обойдется литинским евреям. Банда Шепелева готовила погром. Уже забились на чердаки и в подвалы старухи, уже послали гонца в Меджибож, дабы он положил на мо-



гилу великого хасида Бешта записку-прошение для передачи господу-богу, уже в двух синагогах раскрыли дверцы ковчегов завета, и раввин объявил пост. Подумывали о черной свадьбе и разыскивали уродцев, собирали на всякий случай вещи и деньги, надеясь этим снискать милость громил. Молодежи в городе не было: она ушла в красногвардейский отряд и скоро должна была вступить в город.

В тот день юный Герш Гублер уговорил трех мальчуганов, и они спрятались на кладбище. Мимо проезжал возок с оружием для Шепелева; на гряде сена лежали десять винтовок русского образца и пулемет. Оружие караулили два хлопца — таких же юных и беззусых, как и мальчуганы, притаившиеся за каменными надгробьями.

— Вдруг мой Герш,— сказала Хана Гублер,— вскочил из засады и напал на возок.

— Как? — удивился я. — Безоружный?

— Что вы такое говорите? — воскликнула Хана обиженным голосом. — У моего мальчика был при себе большой револьвер, он наставил его в хулиганов, и те бежали.

Четыре юнца завладели десятью винтовками и пулеметом, с которым никто из них не умел обращаться. Они попытались раздать оружие старикам и составить из них отряд, но те испуганно отказались: «Не дай бог... Будет хуже.

Юнцы защищались сами и убили двух шепелевцев, но погром все же состоялся. Старики говорили, что Бешт был занят в то время, когда посланный положил ему на могилу прошение. Напрасно раскрыли ковчег завета: бог знает, что в Литине много грешников и еретиков, и не внял молениям. — Говоря о еретиках и грешниках, старики намекали на Герша Гублера и его товарищей: «Озорники! Они разгневали всемилостивого, вездесущего и всепрощающего».

Так рассказывала швея. Я похвалил ее сына и еще больше расположил ее к себе. Она угостила меня кислым молоком и спросила, не надо ли мне чего постирать. Если я только принесу ей кусок простого мыла...



— Я вас спрошу так,— сказала Хана Гублер:— вы не коммунист?

— Нет.

Она внимательно осмотрела меня и спросила:

— Вы против них что-нибудь имеете?

— Наоборот,— ответил я:— я думаю, как и они.

Видимо, ей понравился мой ответ, и она сказала:

— Отчего я никогда о них ничего не слыхала... пока не пришел Ленин и перевернул все по-своему. Герш говорил мне, что они были и до революции. Почему же в Литине о них не знали?..

Я стал ей подробно объяснять, но она не дослушала меня и произнесла, удивленно поводя плечами:

— Потом я думала, что коммунисты—это только у нас, и вдруг нате... и тут и там... Кто бы мог сказать, что там тоже есть коммунисты!

— Где?

— В Палестине. Кто бы мог сказать!

— Что-нибудь случилось с вашим Гершем?

— С ним,— ответила Хана,— всегда должно что-нибудь случиться. Они называли его коммунистом и вообще...

Она, видимо, чего-то стеснялась и долго не решалась сообщить, что ее сын сидел там в тюрьме. Я засмеялся и сказал, что удивлен, почему она стесняется: она должна гордиться. Не то, мол, важно, что сидел, а то, за что сидел. Лучшие люди мучились за идеи в тюрьмах. Разве она этого не понимает?

— Я вижу, вы—хороший человек,— сказала Хана Гублер.—Если вы в самом деле не хотите мне ничего дурного, то я вам покажу письма моего Герша.

Она достала черную, дубовую шкатулку, где измятые письма ее сына валялись среди множества наперстков, иголок, английских булавок, разноцветных лоскутков, фотографических карточек и квитанций. Прежде чем передать мне письма, она тщательно разглядела их и перецеловала.

Из первых же строк я узнал, что Илья Шухман стал одним из главарей национальной партии «Ахдус Га-авадо», и его друзья поставили ему на вид, что он



слишком много прощает дерзкому на язык Гершу Гублеру. Они сказали ему: долг каждого честного сиониста — предавать в руки полиции смутьянов. Гублер был объявлен смутьяном из-за друзов.

Ливанские горы примыкают к границе Палестины. На Ливанских горах живет племя друзов. Они подмандатны французам, как палестинские арабы и евреи подмандатны англичанам. Французы обложили друзов большими налогами, они бестактно отнеслись к святыням, — и друзы восстали. Целые месяцы защищались они на крутых тропинках своих неприступных гор. Французы высылали пополнение за пополнением. С французских судов сгружались новые пушки и аэропланы. Маленькое племя друзов орошает каждую тропу кровью — своей и вражеской.

Однажды после работы Гублер заговорил об этом с Шухманом.

Тот нахмурился и грубо сказал Гершу:

— Прикуси язык: это не твое дело.

— Значит, ты за французов?

— Французы — культурный народ, а друзы — дикари, как все арабы! — вскричал Шухман.

И пригрозил Гублеру: если тот не замолчит, он сообщит о нем в черный кабинет.

Черный кабинет — особый отдел для борьбы со смутьянами в партии.

— Ты рассуждаешь, как гебраист Западной Стены, — ответил Шухману Гублер.

— Я тебя предупредил, — сказал Шухман и отошел от него.

Вскоре он узнал: Герш снова разговаривает о друзьях. Он имел наглость втянуть в беседу школьников, но там была одна четырнадцатилетняя девочка, воспитанная, как следует.

— Ты погромщик, если так рассуждаешь! — закричала она на Гублера и плюнула ему в лицо.

Девочка прибежала к Шухману, и тот поехал в отделение «Ахдус Гаавадо» и сообщил черному кабинету о поступке Герша Гублера. Его судили в Тель-Авиве. Александр Гордон побежал к адвокату Илье Халлашу,



просить его выступить в защиту Гублера. Илья Халлаш отказался. Тогда Гордон отправился к адвокату господину Сокеру. Тот тоже отказался защищать Гублера. Гордон послал письмо Шухману, но тот вернул ему письмо с пометкой: «С дезертирами ничего общего не имею».

Гублера осудили и отвезли в Аккрскую крепость. Это — мрачный замок, повисший на скале; его омывает Средиземное море; из окон замка видна гора Кармель.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Я заночевал в доме Ханы Гублер. Она жила бобылкой, чистой, опрятной бобылкой в маленьком доме, обреченном на слом. Спал я долго и чувствовал, что швее с нетерпением ждет моего пробуждения. Глиняный горшок с густой простоквашей стоял на моем столе. Убирая мою постель, она заметила книгу, которую я читал вечером и, засыпая, уронил на пол.

— Молодой человек!

— Что?

— Я вас спрошу так: это — не Эрфуртская программа?

— Нет, — ответил я удивленно. — Это — книжка рассказов французского писателя Проспера Мериме.

— Как вы сказали?

— Проспер Мериме.

Она махнула рукой.

— Все равно! Какие-нибудь басни или песни. Правильно?

— В этом духе.

— Ну, пейте кислое молоко.

Я заинтересовался, от кого она узнала про Эрфуртскую программу. Хана сказала, что спросила Вексельмана из сельсовета, какие книги читают люди, которых называют коммунистами. Вексельман сказал: «Массу! Тысячи книг». Она спросила: «Все-таки? У них же есть названия?» Вексельман сказал: «Эрфуртскую программу». Хана Гублер хочет прочесть какую-ни-

будь книжку из тех, что читает ее сын. Нет ли у меня здесь Эрфуртской программы на еврейском языке?

— Я думаю, вы можете достать в литинской библиотеке, — сказал я Хане.

Она сперва не поверила, потом робко попросила меня пойти в библиотеку и взять для нее эту книгу. Она бы не стала меня затруднять и пошла сама, но ей как-то стыдно. Я охотно согласился и через полчаса принес ей Эрфуртскую программу на еврейском языке. Отдыхая время от времени от работы на своей машине, Хана заглядывала в книжку, морщила лоб: читать ей, видимо, было трудно.

Она строчила весь день; иногда к ней приходили заказчицы, столь бедные и обшарпанные, что трудно было к ним применить такое солидное слово, как «заказчица». Шла невероятная торговля, звучали просьбы, клятвы. Заказчицы много болтали, а Хана Гублер кивала головой и все строчила, то чаще, то реже нажимая ногами решетку.

— Вы слышали, Хана, — болтали заказчицы, — уже опять записывают в Биробиджан.

— Да?

— Подумаешь. Они стали такие капризные! Не всех берут.

— Да?

— Что мы им, яблоки, чтобы выбирать только крупные. Наш Вексельман дает характеристики. Если он хочет, то может напортить каждому.

— Да?

— В пятницу в Виннице в Торгсине будет мука.

— Да?

Заказчицы уходили, а Хана строчила. Так она работала до позднего вечера, потом снова заговорила со мной. Она всегда понимала, что коммунисты образованные, но никогда не думала, чтобы они были такие ученые. Вот она читает книжку на еврейском языке и так трудно понять. Все какие-то нездешние слова, возвышенные. Доходит ли до нее смысл? Конечно, она же не глухая.

— Я вам скажу так, молодой человек: они-таки ду-



мали о нас. А если я швея, то как считаюсь по-ихнему: пролетарь или кустарь?

— В зависимости от того, где вы работаете.

— Значит, если бы я работала на фабрике, я была бы чистый пролетарь?

— Правильно.

Она пошла за водой, затем натопила кизяком печь, согрела чай. У меня оказались чай и сахар, что удивило Хану Гублер. Выходит, сказала она, что мы с ней будем пить настоящий хозяйский чай. Есть ли у меня мать? Неужели умерла? Она всплеснула руками, и лицо ее стало бесконечно скорбным. Сколько же ей было лет? Умерла такой молодой? Какая же у меня печальная жизнь, если я — сирота с детских лет. Вспоминаю ли я ее? Очень хорошо! Значит, ей там совсем легко, если сын вспоминает мать. Герш — тоже очень хороший сын. Он бог знает куда уехал, но не забыл свою старушку-мать. Сначала он писал, что перевезет ее туда, и они будут жить вместе, потом просил подождать. Ну, а теперь...

— Я ведь самое главное от вас скрыла, — сказала Хана: — мой сын придет сюда.

— Когда? — воскликнул я.

— Я вам не показала главное письмо. Боялась! Думаю так: чужой человек, — зачем ему это знать. Герш писал, что если его сюда пустят, он вернется. Вот я и боялась: вдруг вы можете сделать что-нибудь такое, что его не пустят. Потом он написал мне, что уже все готово и их пускают, и они едут сюда целой колонией, в Биробиджан.

— Когда?

— Я сама хочу его поскорее увидеть.

Швея показала мне письмо. Да, Герш Гублер едет сюда с целой колонией. Колония называется Кадимо. Как так? Почему Кадимо? Я был безмерно удивлен, но последнее письмо Гублера оказалось очень коротким, и ничего больше мне из него узнать не удалось. Хана призналась: я — единственный человек, которому она показала письмо. Она стесняется односельчан. Они скажут, что ее сын — неудачник, если не смог устро-

иться за границей, где, по словам старых литинцев, люди так хорошо устраиваются.

— Хотя, я вам скажу по совести, они уже получают совсем не те посылки. Например, сосед. У него сын живет в Филадельфии. Вы знаете такой город? Это же — Америка! Еще недавно он посылал ему пять долларов в месяц. Пять долларов! Сосед отправлялся в Винницу и скупал там в Торгсине половину магазина. А теперь? Сын посылает ему из Филадельфии один доллар в месяц, и то неаккуратно. Он пишет, что дела его идут неважно, и пусть ему наши евреи не завидуют: у них это называется кризис. Вы подумайте! Такая Америка и какой-то кризис! Такая Америка...

Я объяснил Хане Гублер, что такое кризис. На этот счет у коммунистов тоже есть книжки.

— Уже написали?— удивилась она.

— Давно написали,— ответил я.— Еще Карл Маркс писал, а он умер пятьдесят лет назад.

Она опять не поверила, потом снова стала хвалить неожиданную ученость коммунистов и попросила достать ей книжку о кризисе на еврейском языке. Она хочет знать все, что знает ее сын. Она хочет, чтобы Герш, когда придет, смог с ней говорить обо всем. Например, ему захотелось потолковать о кризисе,— так пусть он толкует с ней, а не бегаёт для этого в другой дом. Трудно в наши дни быть матерью: сыновьям уже мало одной заботы и ласки, им еще надо, чтобы мать кончила высшие женские курсы. Интересно знать, когда старая Хана могла это сделать? Ее выдали замуж в шестнадцать лет. Муж приехал из Летичева и не знал никакой профессии, только через тридцать лет он научился ваять шапки, а сын к тому времени сделался подручным у бондаря и приносил домой два-три рубля. Она вышла замуж, и как только гости разошлись, села за машину, которую принесла мужу в приданое. С тех пор она строчит. Когда Герш уехал из Литина в Одессу, муж еще был жив. Он умер в голодное время в Проскурове, в бараке для сыпнотифозных.

Правда, красота не самое важное в жизни, но я могу



поверить ей, что она была красивой девушкой. Она не посмела бы так сказать о себе, если бы ей не говорили это чужие люди. В Литине как-то поселились офицеры, и один из них встретил ее на улице и сказал: «Какая хорошенькая жидовочка». Но что такое красота? Прах и тлен, неправда ли?

И все же швея достала свою дубовую шкатулку. Порывшись среди лоскутков и наперстков, нашла старинную фотографическую карточку. Я увидел бледное и безгрешное лицо, полное освежающей красоты. Она вытянулась на снимке во весь рост, в старомодном черном платье до пят, с платком на голове, строгая и вместе с тем напуганная. Рядом с ней стоял ленивый, нелюбящий муж. Он и перед фотографом успел показать свое мнимое мужское превосходство. Она была широка, он — худ, ее глаза были прекрасно раскрыты, его — вяло сомкнуты. Однако я увидел неоправданное высокомерие на его некрасивом, заросшем щетиной лице.

Увлечшись воспоминаниями, швея сообщила мне, что в те годы ее хотел взять замуж сын литинского купца Чернявского. Отец был богатый человек и жил в самом лучшем доме. У него был свой экипаж и какие кони! Есть кони — кони, и есть кони — львы. У Чернявского были кони — львы. Черные, пламенные, красивые! Сын увидел Хану на кладбище, где она любила гулять с подругами. Он вызвал подруг к себе и долго расспрашивал их о Хане. Она будет его невестой. Он пристал к отцу, и тот решил сам посмотреть дом Ханы. Он гордо вошел в нищий дом и не пожелал сесть на стул нищих, и не пожелал выпить молока нищих, и отказался от яблока нищих. Уходя, он сказал: «Глупый бездельник! Здесь живут нищие, последние нищие!»

Брак не состоялся. Старый Чернявский жив и сейчас. Он торгует на базаре и беднее Ханы Гублер. У него забрали и дом и черных львов вместе с экипажем, а сын еле-еле устроился на службу в Виннице. Он тогда женился на дочери хозяина кирпичного завода, но забрали и завод... Вот тебе и богатство... Прах, тлен...

Хана Гублер родила трех сыновей и трех дочерей, но все умерли. Уцелел самый младший, и самый красивый, и самый умный — ее драгоценный Герш. Она очень довольна, что он еще не женился. Жизнь так устроена, что молодые жены не любят старых матерей. Если ей все равно суждено его лишиться, пусть это произойдет несколькими годами позже.

— Вы, должно быть, слышали, — есть такая песня, где жена заставила мужа принести ей в подарок сердце матери? Песня очень смешно называется... «Эрон лярон, ля-ля, ля-ля...» Это — французские слова. К нам в прошлом году приехал комедиант из Киева; вот он и представил все в лицах, как сын бежит, бежит и теряет по дороге сердце своей матери, которую он убил... Люди говорили, это в самом деле случилось у них, в городе Франция... даже газеты публиковали... Нам дали бесплатные билеты, всем кустарным людям... которые шьют или делают туфли, пуговицы, шапки, часы... Хана Гублер поняла, что каждая мать может потерять своего сына, если она не будет знать все, что знает ее сынок. Через два дома живет Погребецкая, очень хорошая женщина, и ее сын — большой человек, один из главных комиссаров в Киеве. Нет, ей грех на него жаловаться. Он ей посылает деньги и разные вещи. Но в прошлом году он заехал ее навестить. Обещал, что пробудет целый месяц, а прожил пять дней. Сидит дома и молчит, молчит. А потом надевает свой военный костюм и отправляется в райком, в райсовет, куда угодно. Мать ждет — не дожидется. Наконец сын возвращается вечером домой и опять молчит, молчит. Затем он уехал, а старая Погребецкая приходила к Хане Гублер жаловаться и плакать. А сын ее в самом деле такой важный...

Швея рассказала, как она поехала, никому не сказав, к молодому Погребецкому в Киев. Поняла из письма сына: он боится, что его могут сюда не пустить; посоветовалась со старухой Погребецкой, и с ее напутственными словами отправилась в Киев. Двадцать семь рублей! Она истратила на дорогу такую большую сумму, потому что за все надо платить: и за автобус



и за поезд. О, в Киеве ее не так скоро к нему пустили! Молодой Погребецкий служит в доме с военным караулом. Ее повели к коменданту, и тот спросил: зачем, по какому делу? Потом он передал ей трубку-телефон, и она сказала Погребецкому, что соседка его матери хочет с ним поговорить. Тогда ей дали квитанцию с острой печатью, и три часовых проверяли у нее квитанцию, пока Хана Гублер не попала в комнату, где сидел сам Погребецкий. Ей чуть не сделалось дурно, потому что тот ее выслушал и сердито сказал:

— Нет, ваш сын — не наш человек. Я не думаю, чтобы его можно было сюда пустить.

Хана еле пережила его слова, но потом обиделась и сказала Погребецкому, что он, видно, думает, будто ее сын — фабрикант Бродский или Высоцкий.

— С каких это пор, — ядовито спросила она, — подручный у бондаря и круглый бедняк уже не наш человек? Может быть, вам кто-нибудь на него наклепал? Так вы плюньте в глаза всем клеветникам!

Но Погребецкий ее успокоил и сказал:

— Вы же сами говорите, что ваш сын — сионист, а сионистов мы считаем как контрреволюционеров.

— Ну и что же? — спросила Хана. — Значит, моего Герша всюду будут мучить — и тут и там?

Он заинтересовался, и Хана рассказала ему всю историю сына.

— Это другое дело! — воскликнул Погребецкий. — Вы же бестолковая женщина! Вот с чего надо было начинать.

Он сказал ей, что у них в учреждении нет подобных заявлений от ее сына, но что Хана как раз попала в то самое учреждение, где все будут знать, и что ее сына, думает он, сюда пустят, и пусть едет домой. Он даже спросил, есть ли у нее деньги на дорогу и предложил полтора червонца из собственного кармана, но она гордо отказалась, потому что пока глаза ее видят, а руки движутся, Хана Гублер может еще заработать себе и на жизнь и на дорогу туда и обратно.

Когда она ждет сына? Она понимает так, что он будет здесь через пять-шесть недель. Можно ли ей

оставить письмо для Герша Гублера? Конечно, конечно.

Я объясняю ей еще раз, что Герш — приятель моего друга, и я хочу его расспросить об Александре Гордоне. Пусть он напишет мне, как только приедет. Я бы хотел с ним встретиться.

Прожив в Литине еще два дня, я распрощался со швей и уехал по делам службы дальше — в Летичев и Проскуров. Вернулся домой через месяц, нашел на столе много писем, но от Гублера не было ничего. Снова уехал на три недели, опять вернулся. Набросился на свежую почту и также не обнаружил письма от Гублера. Так прошло лето, так наступила осень. Снова уехал на месяц, вернулся, опять уехал. Так прошла осень и наступила зима. В конце января я оказался в Одессе, где ждал парохода на Очаков. Очаков — недалеко от Одессы и езды туда всего три часа. Я приехал на рассвете в одесский порт, надеясь к полудню очутиться в Очакове, но ждать парохода пришлось мне долго, очень долго.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Все спрашивали друг друга:

— Вы не видели начальника порта?

Кто-то пробежал по молу с узелком в руке.

— Понимаете, — крикнул он на ходу, — я уже полчаса ищу начальника порта.

— Когда же он, наконец, придет?

В гавани собралось множество пассажиров. Они проводили здесь третьи сутки, то уходя в город за покупками, то снова возвращаясь. Четыре парохода стояли у причалов, готовые к отплытию. Море буйствовало. Валы перекатывались через волнорез. Не переставая ревел ураганный ветер. Шторм на Черном море продолжался три дня. Все надеялись, что он с минуты на минуту должен утихнуть, но ветер усиливался, рос накат, все белей и белей становилась пена прибоя. Начальник порта сказал, что не выпустит ни



один корабль. Злые и сонные бродили по гавани пассажиры: их ждали в Николаеве, в Батуме, в Пирее.

Кроме них, столпились в порту и встречающие. Пять кораблей маялись в открытом море. Ураган мешал им войти в порт, и родственники тревожились о судьбе плененных бурей пассажиров. Начальник порта стал здешним богом. Время от времени он получал отовсюду сведения, принимал радиogramмы с блуждающих пароходов, и стоило ему появиться в своей конторе или на молу, как к нему сразу бросались десятки людей, засыпая его вопросами.

— Ну что, товарищ начальник? Какие сведения?

— Двенадцать баллов,—сурово отвечал начальник порта, безнадежно оглядывая всю толпу.

Пять больших кораблей маялись в открытом море. Два шли из Батума, один из Николаева, четвертый возвращался из кругосветного путешествия, нагруженный электрооборудованием и рыболовными снастями, а пятый плыл из Порт-Саида. Ураган настиг их внезапно. Ночью море разыгралось, семь баллов быстро перешли в девять и одиннадцать. Суда были недалеко от Одессы, когда сила ветра достигла двенадцати баллов, а крен дошел до сорока градусов. Они не успели во-время проскочить в порт и теперь ждали, как и люди на берегу, успокоения погоды. Радиogramмы сообщали об оголенных винтах, о сорванных ветром шлюпках, нехватке угля. В порту обледенели все канаты и причальные тумбы. Люди шли, прижимаясь к стенам, но ветер все же отрывал их от земли и кружил по пристани, смешно вздувая одежды.

Находились дураки, которые в толпе матерей и женщин заводили разговоры о всевозможных кораблекрушениях, случавшихся в разные времена в разных портах. На них смотрели с презрением, от них убегали, как от злодеев и прокаженных. Наоборот, настоящие моряки весело утешали публику, часто повторяя, что этот шторм еще не самый высший и что в их жизни бывали похуже.

Наконец появился начальник порта. Он зарос боро-

дой, словно дал обещание не бриться до тех пор пока не уляжется море. В руках он держал таинственную сводку со сведениями.

— Ну как, товарищ начальник?

— К вечеру успокоится,— ответил он:— есть приятные сведения из Новороссийска и Севастополя, там начинается затишье.

Как развеселилась гавань! Все радостно толкали друг друга, повторяли:

— Вы слышали? Начинается успокоение!

— Ну да, затишье!

Жадно всматривались в морские дали и, хотя так же буйно свирепствовало море и гулял ветер и яростно белела пена прибоя, люди убеждали друг друга, что они видят, как уменьшились гребешки и как — вы разве не почувствуете? — ослабевает ветер. Нашлись добровольцы-гонцы; они ежечасно бегали на радиостанцию, и на пристани стали их встречать так же внимательно и восторженно, как и начальника порта. Изучали полет птиц, гадали по ним, как и по флюгеру на вышке Дворца моряка, стоявшего на бульваре, над красноватым и чуть заснеженным обрывом. Приумолкли хвастливые дураки. Вдруг все стали пить чай. Пили весело и шумно. Шутки, которые ранее выслушивались молча и недружелюбно, начали пользоваться успехом. И опять:

— Вы не видели начальника порта?

— Когда же он, наконец, придет?

Образовались маленькие коммуны. У одного был в избытке сахар и чай, между тем как у его соседей они давно иссякли. Угощали друг друга, делили продукты, переходили с «вы» на «ты», записывали батумские, николаевские, севастопольские, пирейские, стамбульские адреса и телефоны.

Пассажиры и встречающие ждали вечера. Я ушел в город и, когда зажглись первые огни, снова спустился в порт. Действительно, шторм ослабевал, но корабли еще было запрещено выпускать из гавани. Пошел слух, что ночью в порт смогут войти блуждающие за рейдом пароходы. Начальник сообщил публике: пер-



вым причалит пароход «Декабрист», идущий из Порт-Саида.

— Мой сынок!—вскричала женщина.

Я оглянулся и увидел старую-престарую еврейку, закутанную в два шерстяных платка.

— Мой сынок на этом пароходе,—сказала она, схватив за руку начальника.— Он работает в кочегарке. Вы, должно быть, его знаете. Моя фамилия Эпштейн.

— А!—произнес начальник порта и прошел дальше.

Заметив мой внимательный взгляд, старушка подсе-  
ла ко мне и рассказала мне в нескольких словах жизнь сына. Он кончил мореходное училище, уже два года плавает на «Декабристе», он будет помощником старшего механика. Она всегда выходит его встречать. Грех жаловаться, он не забывает старую мать. Она раньше сама зарабатывала себе на жизнь, но он ей запретил. Видите ли, она торговала на Привозе, у нее был самовар, она варила в нем пшенку и продавала детям, но сын не хочет, чтобы она занималась такими делами.

— Извините,—вдруг сказала старуха,— мне нужно на минуту в приемный покой.

Она вернулась оттуда через полчаса.

— Все хорошо. Слава богу.

— Вы больны?

— Я?—удивилась она.— С чего вы взяли?

— Вы ходили в приемный покой.

— А!

Старуха рассказала, что тут одной женщине стало дурно. Она ждет сына из-за границы. Он тоже на этом пароходе, но не матросом, а простым пассажиром. Когда она узнала, что пароход не может войти в порт и увидела, что делается на море, ей стало дурно. Вот уже три дня, как она лежит в приемном покое. Спасибо доктору, он дал ей хорошие капли, и ей сделалось хорошо. О, как она ее понимает! Она тоже мать, и если еще не упала в обморок, то только потому, что держится всеми силами за землю пока приедет сын.

— Откуда эта женщина?— спросил я.  
— С Подолии.  
— Из Литина?  
— Да, из Литина,— удивленно ответила старуха.  
— Как ее фамилия?  
— Не знаю.  
— Хана Гублер?  
— Да, ее зовут Ханой, а фамилии не знаю. Если человек сам по себе хороший, мне не нужна его фамилия.

Я прошел в приемный покой и на единственной койке сразу нашел швею из Литина. Она вздрогнула при моем появлении, что-то закричала, но потом разочарованно отпрянула.

— Мне вдруг представилось,— грустно произнесла Хана Гублер,— что это — мой сынок.

Оказывается, Герш Гублер должен приехать на «Декабристе». Пароход идет из Порт-Саида, но Герш сел в Яффе. Он ей прислал телеграмму. Она так была счастлива — и вдруг этот проклятый ураган. Как он свистит, как шумит! Правда ли, что он утихает, и пароход сможет ночью войти в порт? Или ее обманывают? Нет она никогда не ездила по морю и никогда не поедет.

— А если бы надо было повидать сына?— спросил я шутя швею.

— Что? — вскричала она. — Если бы надо было пробраться к сыну, я села бы верхом на бочку из-под сельдей и покатила по всем морям и океанам.

Она насторожила ухо: не слышно ли гудков? Я заметил, что долгожданная радость и неожиданная тревога не прошли для швеи даром. На ее лице заметно прибавилось морщин, и плечи ее, еще недавно удивившие меня своей прямизной, выглядели сейчас худыми, костистыми и жалкими. Она виновато сообщила мне, что читала книжку об Эрфуртской программе много раз, но мало поняла. Должно быть, эти немцы придумали тогда очень важное для рабочего класса, если и Энгельс и Ленин уважительно высказались о програм-



ме. Нет, они не все хвалили: они нашли там много такого, что называли оппортунизмом...

— Мне кажется, что если я еще раз прочту, то, наконец, все пойму. Самое трудное — эти тяжелые слова, которые я никогда раньше не слышала.

Она говорила и поглядывала в темное, непрозрачное окно. Ураган разбил стекла, и все окна в приемном покое наспех заколотили фанерой. Когда вошел врач, Хана Гублер попросила отпустить ее, но тот покачал головой и посоветовал остаться до прибытия парохода.

— Уверю вас,— сказал врач,— вы услышите гудок. Его нельзя не услышать.

Распрощавшись со швеей, я двадцатый или тридцатый за эти дни раз поднялся в город и вернулся в порт поздно ночью. Еще сверху я разглядел освещенную прожектором толпу и великую суету на молу. Когда я спускался по лестнице, протяжно и величественно загудел гудок. Я заметил движущиеся огни — пароход входил в гавань.

Приемный покой был пуст. Доктор быстро сказал мне, что швею не удалось удержать: ей все время мерещились гудки и шумы. Она заплакала, и ее выписали еще несколько часов назад. Я побежал к причальной пристани, где шумно возились портовые рабочие, волокли сходни, и охрана оттесняла со всех сторон напиравшую толпу.

— «Декабрист» пришел!— кричали люди.— Через двадцать минут войдет «Ильич». Я вас очень прошу, пропустите, пожалуйста: ваш сын же не на «Декабристе»! Пропустите!

— Спокойно, товарищи, спокойно,— голосили охрипшие стрелки портовой охраны.

Пароход медленно поворачивался в бухте, осторожно подплывая к пристани. Кто-то снизу бросил концы, кто-то наверху подхватил. Все радостно кричали вокруг: и на корме, и на носу, и на молу. В неразберихе воплей, восклицаний и приветствий я разобрал беспокойный голос Ханы Гублер.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Мистер Джемс Броун давно уехал к себе домой — в Америку, в штат Юта. Он и не думал, что маленькое письмо, написанное им как-то в одну из библских ночей на таежном привале, будет впоследствии иметь большое значение в судьбах многих людей и сыграет в их жизни немалую роль. Возможно, что он написал это письмо на берегу Амура или в Вальдгейме. Помню, в те ночи он клеил конверты и выводил аккуратным почерком адреса. Как выяснилось потом, одно из писем было адресовано в Палестину.

Я уже рассказывал раньше, что до посещения Библс Библс Броун побывал со своей комиссией в Палестине. Обследуя положение колонистов, Броун заехал в Кадимо. То была старая колония, основанная в 1905 году, — та самая колония, куда не взяли наборщика, сдававшего углы в Иерусалиме. Здесь сейчас жили сто одиннадцать семейств, были большие сады и виноградные участки. Уже умерли многие из тех, кто когда-то убирал камни с бесплодных полей и впервые засеял и оросил эту землю. Однако из прежних пятнадцати Кадимо. Кроме них, старинными поселенцами считались еще человек двадцать. Как и основатели колонии, они прожили в ней свыше двух десятков лет. Самым счастливым периодом в их жизни были дни, когда Бальфур провозгласил в Лондоне свою знаменитую декларацию. То время совпало с хорошим урожаем и низкими ценами на виноград и лимоны. Колонисты говорили: «Сейчас широко раскроется граница, мы сможем на заработанные деньги расширить свои земли и выпустить из диаспоры родственников и друзей». Когда они произносили слово «диаспора», то думали о России, Румынии и Польше. Во все эти страны полетели письма, телеграммы. Но тесноватыми оказались ворота границы, а вскоре они захлопнулись совсем. Как и другие, они пали духом после убийства Трумпельдора, ареста Жаботинского и погромов в Иерусалиме и Яф-



фе. Как и другие, они послали протест генералу Стор-рсу, но негодующее письмо осталось без ответа. Не удалось выписать друзей и родственников. На заявлениях о визе была всюду начертана одна и та же резолюция: «В виду того, что указанное лицо не предоставило сведений о своих капиталах, в визе на въезд в Палестину отказать».

Разумеется, у родственников из диаспоры не было никаких денег, между тем как Национальный комитет требовал от каждого из них ввезти не менее пятисот фунтов стерлингов. Колонисты из Кадимо послали делегата к самому Хаиму Вейцману. Гонец пробыл в Тель-Авиве две недели и добился аудиенции у главы комитета. Тот ответил: «Для блага нашей страны мы должны соблюдать пропорцию. После того как сюда иммигрирует определенное количество евреев-капиталистов, мы сможем пустить и ваших родных. Подождите».

Колонисты напрасно ждали: богатые евреи отнюдь не стремились в Палестину. Капиталы не только не прибыли, но еще и убывали из Сионистского банка. Неожиданно оказалось, что жизнь после декларации Бальфура стала не веселей, а грустней. Как сладка мечта, еще не сделавшаяся реальностью! Все годы ждали исполнения желаний. Наконец они исполнились, и колонисты стыдились сознаться друг другу, что мечта обманула их. С тех пор пошла иная жизнь — обыкновенная горестная жизнь, жизнь без иллюзий. Границы оставались наглухо закрытыми, и колонисты знали причины: все еще не едут евреи-капиталисты, а главное — Англия. Великая держава боится арабов и не хочет, не решается их потревожить новой волной еврейских иммигрантов. Жили тихо и трудно, снимали виноградные гроздья, ухаживали за лимонными и апельсиновыми деревьями, сеяли пшеницу и ячмень, родили детей, но редко танцевали и пели, забросили чтение книг, огрубели и опростоволосились.

Старинных поселенцев здесь прозвали сторожами пустыни, а более поздних — новыми халуцим. Бывало, кто-нибудь из новых заговаривал о том, чтобы перекочевать в Америку или вернуться в Россию, ставшую



советской, и сторожа строго на них смотрели и торжественно заявляли: «Нет, мы никогда не покинем свою колонию».

Так бывало раньше. Сейчас сторожа слушали подобные разговоры равнодушно и с усмешкой. Они знали: все равно никто никуда не поедет: не пустят ни в Америку, ни в СССР. Напрасные разговоры, скучная болтовня.

Раньше редко ссорились жены. Сейчас они часто схватывались друг с другом и привлекали на свою сторону обиженных и разозленных мужей, так что колония нередко разбивалась на несколько враждебных лагерей. Детишки, игравшие на дворе, недоумевали и плакали. Их постоянно разъединяли взрослые, им запрещали дружить, копать сообща песок и катать тележки. Бывало: родители втягивали в тяжелую вражду детей, и мальчуганы показывали друг другу языки и швырялись камнями. После сбора урожая взрослые на короткое время мирились, но дети оказывались более постоянными и сохраняли яростную вражду.

В один из весенних дней в Кадимо приехал Джеймс Броун. Его забросали ходатайствами, но он заявил, что ничего пока не может сделать и приехал ознакомиться с их бытом. Он провел в Кадимо три дня и, между прочим, как-то в разговоре сообщил, что поедет отсюда в Советский союз, в Биробиджан.

— Биробиджан?— удивились колонисты.— Еврейская каторга?

Мистер Броун ответил, что никому не верит на слово. Комиссия, в которой он участвует, увидит все своими глазами и только тогда будет иметь настоящее суждение о Биробиджане. А колонистам рассказывали, что это — конец света, мерзлая и беспросветная тайга. Там ничего не растет. Раньше туда загоняли ссыльных, теперь расселяют евреев. Говорят: дикий полярный край с вечной ночью, замерзшим мхом и хищниками, блуждающими по бездорожью.

— Посмотрим,— сказал Броун,— посмотрим.

«Даже в худшем случае,— думает он,— кто-то весь ма сгустил краски. Биробиджан — это Дальний Восток,



а там нет полярной ночи и прочих ужасов. Возможны болота, бесплодие земли...»

— Посмотрим,— сказал мистер Броун.

Прощаясь, колонисты обратились к нему с просьбой: пусть он напишет им письмо оттуда, пусть кратко, в нескольких словах, сообщит о том, что делается в Биробиджане, какова природа, родит ли земля, есть ли страшные болезни и какие. Броун обещал написать.

Время, когда в Кадимо пришло письмо из Биробиджана, совпало с двумя горестными для колонии событиями. Во всем мире распространился промышленный и сельскохозяйственный кризис, и, хотя палестинские вожди хвастались, что их страна меньше всех задета экономическим бедствием, все же цены на вино и лимоны сильно пали и о еще столь недавнем благополучии вспоминали, как о временах легендарных. Колония Кадимо, прочно стоявшая на своих ногах,— в отличие от других, более юных колоний,— снова стала нуждаться в ссудах и банковской помощи. За одну осень колонисты влезли в большие долги. Вспоминая дни барона Ротшильда, они припрятали вино в подвалах, ожидая высоких цен. Одни требовали немедленной продажи, другие убедили попридержать. Когда же цены пали еще ниже, и то, что еще два месяца назад стоило сто фунтов, теперь оценивалось в семьдесят, первые возроптали: «Мы же говорили! Вот что вы наделали!»

И ссора заварилась на этот раз среди мужчин, а от них перешла к женам. Снова победили сторонники выжидания. Вино тщательно хранилось в подвалах. Цены пали еще ниже. Семьдесят фунтов превратились в пятьдесят. Тогда уже все заявили, что не надо продавать: лучше вылить вино в реку, чем отпустить его по такой безбожной цене. Подавленные колонисты ждали радостных перемен, и тут на их головы обрушилось второе событие, еще более печальное.

Некогда мистер Бальфур провозгласил Палестину еврейской страной. Вслед за его речью в Яффу ринулась толпа эмигрантов. Страна переживала время подъема, вскоре омраченное погромами и коварной



политикой английских резидентов. Декларация Бальфура фактически уже не жила, но все же она существовала юридически: на нее ссылались во всех протестах, адресуемых в Лондон, ею защищались, с ней нападали на врагов Палестины. И вот, в один день вся страна была потрясена новым законом: премьер-министр Англии Рамзей Макдональд отменил декларацию Бальфура. Конечно, эта историческая хартия не существует уже и юридически. Можно вообразить себе, как торжествуют там, в Хайфе, где скопились панарабисты. Правда, из речи губернатора всем стало понятно, что и арабам нечего особенно радоваться, так как Англия — великая держава, у нее много врагов, и Палестина отныне является важным стратегическим пунктом. В самом деле, пока горевали сионисты и радовались панарабисты, в Палестину прибывали все новые и новые английские части. Они располагались на всем побережье, и инженерные войска расширяли гавань в Хайфе и воздвигали новые мосты и казармы. Арабы видели, как по небу Палестины пронеслись французские самолеты. В это время возстало на горах Ливана одно арабское племя — друзы. На конференции в Сан-Ремо друзы были отданы Франции, получившей мандат на Сирию. Несколько эскадрилий тяжелых бомбовозов засыпали огнем каменные деревушки пастухов, высеченные в голых скалах Ливана. Дважды омрачена была радость панарабистов: и подавлением друзского восстания в Сирии и наплывом английских войск в Палестину.

В эти траурные для всей страны дни в колонию Кадимо пришло письмо от мистера Броуна. Он сообщал, что исполняет свое обещание. Сейчас — поздний вечер. Он заночевал в селе Вальдгейм. Оно расположено в одиннадцати километрах от Уссурийской железной дороги. Его угощают медом и огурцами. Биробиджанские евреи уже убрали свой второй урожай. На огородах еще созревают капуста, морковь, свекла. Густой лес обступил село со всех сторон. Броун сидит в гостях у человека, которого прозвали Мойшей-Грубяном. Хозяин что-то напевает, а Броун время от време-



ни раскручивает фитиль керосиновой лампы и пишет письмо в Палестину.

С давних пор в колонии Кадимо утвердился на собраниях такой обычай. Сторожа садились налево, новые поселенцы — направо. Так было и сейчас. Письмо Броуна было написано на разговорно-еврейском языке, запрещенном в колонии. Новый поселенец, читавший послание, на ходу переводил его на древне-еврейский язык. Он читал медленно, но, несмотря на это, его часто останавливали и просили повторить прочитанные строки.

«Мои далекие друзья! — так начиналось письмо Броуна. — Прежде всего я должен отвергнуть все слухи об ужасном климате Биробиджана: в среднем он приблизительно равен климату Украины, которую многие из вас очень хорошо знают...»

Здесь мистер Броун подробно рассказал о результатах обследования американской комиссии Икора, в которой он участвовал.

— Прочти еще раз, — сказал один из сторожей.

Слушали молча, внимательно и на правых и на левых скамьях.

— Ничего особенного, — вдруг сказал один из сторожей, — нам здесь было куда труднее.

На правых скамьях удивились, но тот же голос с левых скамей продолжал:

— Я верю мистеру Броуну и мне кажется, что биробиджанские трудности — только половина наших трудностей. Не знают же молодые, как нам было тяжело, как косили нас малярия и туберкулез, как мы годами таскали камни и двадцать раз отвоевывали у скал один и тот же клочок...

Его слушали с почтением, но все испуганно оглянулись, когда чей-то голос на правых скамьях произнес:

— Нам и сейчас нелегко.

Похоже было, что сказавший сам испугался своих слов. Он умолк. Было робкое и стыдливое молчание, пока другой голос с правых скамей не сказал:

— Действительно, друзья! Разве нам сейчас не тя-

жело? Я понимаю, что мы не пережили того, что пережили вы, сторожа пустыни. Но разве нам сейчас не трудно?

Люди, которые так часто ссорились, вдруг почувствовали необыкновенную близость друг к другу, и, возможно, все шумно разговорились бы, если бы один из новых халудим не произнес фразы, повергшей всех в длительное молчание.

— Декларацию советской власти,— сказал он,— пока еще никто не отменил, а декларацию Бальфура мы уже похоронили по первому разряду.

Еще недавно человека, сказавшего такие слова, изгнали бы из колонии, а сейчас ему никто не возразил. Единственным способом возражения оказалось общее молчание. Было оно таким долгим и тягостным, что трудно понять, что же это: возражение или смущение!

— Читай дальше,— сказал, наконец, кто-то.

И опять слушали молча и внимательно.

«Далекие друзья! — писал мистер Броун. — Я верю в будущее Биробиджана. Вы мне можете сказать, что когда-то я верил и в Палестину, но я вам отвечу, что то была вера, основанная на мечтах, а здесь — вера, основанная на фактах...»

— Повтори,— сказал голос на левых скамьях.

Не было надобности в повторении, так как дальше Броун разъяснял свою мысль:

«Я позволю себе сказать следующее: на Палестину мы много надеялись и мало от нее получили. Я уверен, что Биробиджан даст гораздо больший эффект в будущем, чем даже тот, которого ожидают его поклонники...»

Новый поселенец читал дальше. В комнате было душно, душно. Никогда колонисты так много не курили. Письмо вышло из Биробиджана осенью и получилось в Кадимо в начале зимы. А начало зимы ознаменовалось дождями и нельзя было выйти на свежий воздух. В комнату заходили жены и дети и удивленно смотрели на мирно настроенных мужей. Они сидели друг против друга рядом и молчали. Жены хорошо изучили своих мужей и знали два разных молчания:



враждебное и дружелюбное. Они сразу поняли это молчание. Оно было дружелюбным.

Кто-то сказал:

— Выпьем вина.

Кто-то пошутил:

— Почему бы нам и в самом деле его не распить, если так трудно продать?

В дымящую комнату проникали лимонные запахи. Дождь омыл деревья, и они наполнились свежим ароматом. Кто-то зашел, но никто его не поддержал. Поговорили о вине, но все же решили его не доставать. Поодно разошлись по своим домикам. Месили в темноте размокшие дороги. Кто-то сказал:

— Очень интересное письмо.

Все обернулись.

Затем пожелали друг другу спокойной ночи.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Великий сатирик Шолом-Алейхем опубликовал в первые годы нашего столетия рассказ об одном кротком местечковом раввине, которого вдруг потянуло домой. Маленький раввин как-то неожиданно загрустил и, кажется, заплакал. Его спросили: какая причина?

— Соскучился по дому, — ответил он, — захотелось домой.

Все знали, что всю свою долгую жизнь маленький раввин прожил в местечке и не выезжал оттуда со дня рождения. Но все поняли, по какому дому он соскучился. Домой — это значило: туда, в страну трех праотцов и четырех праматерей. Поняли и умилились. О, неспроста его потянуло, неспроста! Здесь большой смысл.

Неспроста написал этот полушутливый, полусентиментальный рассказ всегда сатирический Шолом-Алейхем. То было время, последовавшее за траурными годами погромов. Пятна крови и позора навсегда запачкали города империи, расположенные в черте осед-

лости: Екатеринослав, Одессу, Кишинев. В те годы старики еще больше приуныли, а среди молодежи появилось множество сторонников Теодора Герцля и Жаботинского, которые звали домой немедленно, сегодня же, они торопили и угрожали и ежечасно произносили клятву Иегуды бен Галеви: «Да отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя, Иерусалим».

Можно было почувствовать в их речах и угрозах, что они не так сильно стремятся в святую землю, как желают поскорей покинуть страну русского царя. В те годы и уехали те, кто потом основали колонию Кадимо. Сколько прошло лет, и никто из них никогда не говорил, что тоскует по той, настоящей, а не исторической легендарной родине: его бы засмеяли. Ничего не изменилось и после того как в колонии поселились новые халуцим, приехавшие из новой России. Никто не посмел бы сказать, что соскучился по дому. Его также осмеяли бы и уподобили ренегату, предавшему свой народ.

Так принято было говорить и думать в колонии Кадимо. Так принято было в предпоследние годы, потому что в последние годы они, как и Александр Гордон, покинувший и Явне и Тель-Авив, во всем разуверились и на все плюнули. Они потеряли способность и охоту спорить о чем-либо, отстаивать что-то и противоречить чему-либо. И тут, в самую невеселую их годину, пришло из Биробиджана письмо Джемса Броуна.

Четыре колониста, среди которых был один старый и три молодых, перебирали на складе ячмень. Посреди работы один из них сказал, что его очень заинтересовало письмо американца, и он даже поведал утром жене, что не прочь бы проехаться туда и посмотреть, как там живет нашему брату. Слушатели удивились, так как неожиданные слова были произнесены не молодым, а старым колонистом, стражем пустыни, тем самым, кто когда-то убедил своих друзей не принимать наборщика. Он обременен ребенком и не способен отдать всю свою жизнь идее старинной родины.



— Я бы тоже не отказался проехаться,— произнес один из молодых колонистов,— что скрывать, ей-богу, не отказался бы.

— Ты хочешь сказать, что тебя никто не приглашает? — спросил другой.

— Вот именно.

Никто не стеснялся говорить дальше и выпытывать, так что незаметно для них самих разговор завязался большой и теплый. Кончив работу, они не разбрелись по углам, а вышли в далекое поле. Долго шагали, дружно беседовали, и один из молодых колонистов даже сознался, что получил два письма. У него был в Одессе товарищ, дворницкий сын. Его отец был единственным еврейским дворником во всем городе. Когда полицмейстер узнал об этом, его, единственного еврейского дворника, со службы уволили. Полицмейстер сказал: «Иудей не имеет права на занятие государственных должностей, а должность дворника есть государственная, хотя она есть самая маленькая и оплачивается частными лицами, в том числе и господами-евреями».

Человек шагал по скошенному сырому полю и рассказывал. Он хорошо помнит трагедию в доме товарища. Когда отца уволили, семья забрала сына из школы. Ученый уехал, а неуч остался в России. И вот время выкинуло нечто несообразное. Ученый держит в руках лопату, а неуч стал капитаном.

— Капитаном?

— Вот его письмо.

Его никто не стал читать: было темно. Но кто-то сказал:

— Значит, неуч стал ученым?

— Он кончил мореходное училище, и его признали способным и через пять лет практики сделали капитаном.

— Начинаются сказки-присказки,— заворчал другой.— Если бы я был в Америке, то стал бы Рокфеллером, а в Индии — раджой...

Да, сделалось ясно всем: опытным и усталым людям стыдно мечтать. Кто знает, может быть, права народ-

ная пословица, гласящая, что хорошо только там, где нас нет. Возвращаясь домой, старый колонист признался, что хотел бы на один день — хотя бы на один день — заехать в Одессу и посмотреть, что делается на местах его детства и ранней юности. Кто же поселился в доме Ашкенази на Воронцовской улице и на ее божественной даче в конце Французского бульвара, над красноватым обрывом, заросшим ароматным терновником и высокими полынными кустами? Кто живет в доме Блюмберга, Хаеса, Кондиаса? Кто торгует в магазинах Пташникова, Бомзе и Дубинского? Кто работает и управляет на заводах Гена, Попова и в доках Ропита и на складах Юротата?купаются ли еще в Горячей Луже на Пересыпи, у мельницы Вайнштейна? Что стало с богатыми болгарскими огородами на Полях Орошения? Что делается на Куликовом Поле, на Толчке, на Косарке, на Бугаевке, на Ярмарочной площади? Кто вдыхает запахи сирени, акаций и маслин на дачах Вальтуха, Цудека, Маразли и Натансона? Кто сидит в Городской думе? Кто поет в Городском театре? Кто бродит по Хаджибеевским горам и кто гуляет по саду Трезвости? На Еврейской были меховые лавки, а на Малой Арнаутской — немецкие трактиры и постоянные дворы. Кто там сейчас? На Старорезничной играла в театре Болгаровой Эстер Каминская, на Прохоровской гудела мельница Инбера, в Городском саду управлял оркестром Прибик. Что там сейчас? Стоит ли еще дом на Мясоедовской, 14? В том доме был колодец и хедер. Дети из хедера прозвали колодец священным и рассказывали о нем множество легенд.

На джутовой фабрике часто случались драки, а на Кривой Балке было так жутко, что ночью сюда боялись ходить даже портовые рабочие — люди отчаянные и бесшабашные...

Волна воспоминаний оказалась сильнее и быстрее волны шлюзовой. Вспоминая, старый колонист из Кадимо чувствовал, как он тоскует по родине и как расстраивает воспоминаниями рану своей тоски. В эту ночь он не осмелился сказать то, что сказал через два дня.



Играя в домино, он так положил камень, что с обеих сторон стало совсем бело.

— Бланш? — спросил сосед.

— Покупайте, — ответил старый колонист, — я же знаю, что у вас бланшей нету.

Сосед покупал «на базаре» камень за камнем и ворчал. И вдруг старый колонист смешал все камни и сказал:

— Я соскучился по дому...

— Вы испортили всю игру! — воскликнул сосед, который тоже был старым колонистом.

Он отбросил свои четыре камня — до этой минуты он тщательно прятал их от глаз партнера — и произнес:

— Вы думаете, мне не хочется домой? Вы думаете, мне не хочется пройтись по старым местам и посмотреть...

С той поры в колонии Кадимо все чаще говорили о своей заморской родине, и тот, кто первый затеял, даже сложил притчу о домохозяине и бешеной собаке.

Жил домохозяин. Был у него хороший дом и хорошие соседи. Но рядом с его участком жил князь. Были у князя привязанные на цепи бешеные собаки. Однажды к князю пришел его советник. Он сказал: «Князь, верный твоей милости, я подслушал ночью сон наших собак. Они рычат, князь». — «Рычат? — удивился князь. — Ты сам слышал?» — «Да, мой господин. И я заглянул в их поганые челюсти и увидел, что у них растут острые зубы». — «Что же ты советуешь мне сделать?» — спросил князь. Советник ответил: «Господин, надо дать волю их ярости. Дай им двухдневную свободу и натрави на мирных домохозяев». Советник посоветовал, а князь приказал. Было утро, когда домохозяин сидел у себя за обедом, и внезапно к нему ворвались, изрыгая гноющуюся слюну, бешеные псы князя. Домохозяин бежал и проклял свой дом. Часто спрашивали его люди: «Где твой дом?» И он отвечал: «Нет у меня дома, ибо в поганом жилище, которое я некогда считал своим домом,

поселились бешеные собаки». Но пока домохозяин жил вдали от своего дома, пришли люди, и они прогнали бешеных собак и сбили с княжеской головы его золотую княжескую корону.

— Тогда,— сказал старый колонист,— домохозяин вспомнил, что у него есть дом. Очищенный от скверны, он стал для него милее прежнего.

Услышав притчу, кто-то из колонистов сказал:

— Аллегория ваша разгадывается легче соломонových. Если князь — это Николай Второй, а бешеные псы — молодцы из черной сотни, то что скажут, повашему, те люди, которые прогнали собак, пока вы были тут? Они скажут так: «Вы не помогли нам выгнать псов, и потому забудьте о вашем доме. Дом, который некогда был вашим домом, уже не принадлежит вам...

Обидевшись, старый колонист ответил:

— Я сложил притчу для развлечения, а не для пользы. Кто вам сказал, любезный, что я хочу проситься туда? Пустые слова! Я только помечтал о том, чтобы увидеть одним глазом родные места.

Старый колонист хитрил. Он боялся опасных о себе разговоров и испугался, как бы его притча не стала известной партийным сионистам. Они быстро ее растолкуют, и тогда могут произойти неприятности. В действительности же он дважды советовался со старинным своим другом: что надо сделать для того, чтобы вернуться домой? Не написать ли письмо Джемсу Броуну в Америку? Нет, не годится. Обратиться в Национальный комитет? К английскому начальству? Подать петицию Калинину? Они многое перебрали и ничего не решили.

Узнал ли комитет партии Ахдус-Гаавадо о настроениях в Кадимо или же приезд в колонию делегата был случайным, но сюда скоро прибыл видный представитель этой партии, Илья Шухман. Он собрал всех колонистов на дворе и сообщил, что сделает доклад о новых судьбах Палестины. Заметив множество полупечальных лиц, Шухман стал го-



ворить осторожно и зло, словно ожидал нападения и заранее отбивал возможные удары.

— Друзья,— сказал он,—временные невзгоды дали возможность более слабым и неверным из нас сеять панику в наших рядах. Хорошо. Я хочу вас спросить: каковы же эти невзгоды? Вы скажете: кризис. Но кто не знает, что явление это — временное и что у нас еще будут такие прибыли, о каких не мечтали ни мы с вами, ни наши отцы и деды. Вы скажете: отмена декларации Бальфура. Но глуп тот, кто думает, что мы потеряли здесь свою независимость. Если пожелать истолковать в самом дурном для нас смысле новый закон английского правительства, то все же каждый скажет, что он оставляет за нами такие же права, как и за арабами и англичанами. Верьте, еще ярче загорится звезда нашего народа, и скоро настанет день, когда мы снова — и больше чем когда бы то ни было — станем здесь главными хозяевами. Одна беда, что нас мало: мы никак не могли затащить сюда евреев из центральных европейских государств. Они говорили: мы живем в культурной Европе, где царит равноправие. Зачем нам спасаться в Палестине, если мы имеем наше спасение здесь,— в Англии, Германии, Франции? Наивные люди! Жизнь отомстила им и последний раз показала, что нет для еврея родины, кроме страны его пращуров. Вам известны печальные события в Германии. Пруссак озверел, вернулся одиннадцатый век, скоро в Берлине оградят отдельный квартал и создадут новое гетто. О, теперь немецкие евреи, которые и не хотели слушать о Палестине, еще попросятся сюда! Мы ждем небывалого притока рабочей силы и капиталов.

Колонисты с любопытством смотрели на Шухмана. Смелым и выразительным было его черное сухое лицо. Длинный нос еще более отдалился от запавших щек, и пышно взбитые усики уже не скрадывали его редкую величину. Когда Шухман снимал свою белую полотняную шляпу, обнажалась бритая, с сохшейся кожей голова. Она посинела от солнца. Голос у Шухмана был особо выработанный, голос завязатого аги-



татора. Столько сухости и звона природа, кажется, никогда не отпускает горлу человека.

Шухман говорил полчаса, затем он попросил воды, много воды, сорокаведерную бочку, сказал он. Как всякий умный агитатор, он с восприимчивостью лакмусовой бумажки схватывал настроение аудитории. Слушают хорошо, понял Шухман, пора обратиться к шутке. Просьба выставить сорокаведерную бочку вызвала улыбки, легкий смех. Значит, все в порядке. Это стало еще яснее, когда Шухман увидел, с какой поспешностью перед ним поставили холодный баллон с сельтерской водой. Он остался в колонии до вечера, играл со многими в домино и всех обыграл, так как был острее и сообразительней этих неповоротливых земледельцев. И письмо в комитет о большом успехе его выступления в Кадимо было преувеличенным, но не ложным. Колонисты, действительно, окрепли духом и на короткое время снова поверили в счастливое будущее Палестины. По вечерам много и оживленно говорили о Германии и о германских евреях, несущих на горбах своего несчастья новое избавление. Но если первая любовь длилась десятилетия, то вторая еле просуществовала пять недель. В колонию проникли новые вести из Тель-Авива: богатые немецкие евреи почти не едут, а бедных немецких евреев не пускают. Старая история! И если первую любовь могли потушить большие и бурные воды, то вторая утонула от легкого дуновения. Речь Шухмана забылась, зима тянулась долго, нужда росла.

В конце зимы колонию постигло большое горе: умер старый колонист. Были тихие дни — без работы, без шума. Люди отдыхали, ездили в гости к старикам в Песах-Тикво и в Ришон-де-Цион и к молодым в Явне. Скучая без дела, старый колонист отправился в Яффу. Он был легко одет, а в автобусе промерз от холода. Выпал снег, затем пошел дождь. Старый колонист простудился и заболел воспалением легких. Его привезли в Кадимо в бессознательном состоянии. За час до смерти он очнулся и попросил апельсин. Потом он тихо запел. Снова замолчал, затем стал ча-



сто и немощно икать. Ему дали воды, но голова его запрокинулась, и старый колонист умер. Его похоронили рядом с первыми стражами пустыни, и мужчины, давно огрубевшие на работе, плакали над его могилой. Когда возвращались с кладбища, кто-то сказал:

— Он мечтал увидеть одним глазом места своего детства.

— Он мечтал, и ему не удалась его мечта,— сказал другой.

Вспомнили, как старый колонист соскучился по дому, и, вспомнив, снова затосковали. И еще вспомнили письмо Джемса Броуна и свои же разговоры в те дни, когда пришло письмо. Но прошли дожди, и показалась весна. Люди снова огрубели на работе и опять забыли письмо Джемса Броуна, как забыли речь Ильи Шухмана. Забыли старого колониста, его жизнь, его прекрасные трудовые руки, его любовь к домино и его тоску. Дни шли все дальше и дальше, и, может быть, в колонии Кадимо не произошло бы никаких изменений, если бы весной туда не приехал Александр Гордон.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Ему казалось: ничто уж в жизни не случится и надо как-нибудь дотянуть до могилы. Ходил в кинематограф, высовывал голову из узкой каменной будки, ставил штемпеля на билетах, отсчитывал сдачу. В часы затишья что-то читал, мало интересуясь содержанием, ел крутые яйца и сыр, попивал кармель. Устав от жизни и не преодолев ее препятствий, Александр Гордон стал похотливым мужчиной. Малка узнала с ним много горя. Было приятно, хоть и тягостно, когда она сама вызывала чувство ревности в старом Акиве Розумовском. Но невыносимо печально ревновать самой. Надо подозревать каждую подругу, ловить взгляды, подкарауливать. Мучила неизвестность. Огрубела, опустилась цветущая Малка. Обильная пища и безделье округлили бедра, вздули живот. Она

шла, переваливаясь по-утиному, и часто замечала враждебный и брезгливый взгляд Гордона. Она много болтала, но редко слушал ее муж. Он равнодушно кивал головой, отворачивался, зевал и испуганно прикрывал рот, как бы просил извинения за свою нелюбовь. У нее были три подруги, и он тайно целовался со всеми, и так как они все были дурнушки, то считали себя счастливыми, что отбивают мужа у женщины, которую люди хвалят за красоту. Бедной Малке пришлось взревновать Гордона и к Лии. Еще не так давно он чувствовал к ней отвращение, а сейчас она имела на него тайные права: уже два года установилась между ними близость. Чувство похоти требовало новых женщин, и однажды полупьяный Гордон взглянул туманными глазами на постаревшую от многих лет и скверной жизни Лию. Он взглянул на нее так, как никогда раньше не смотрел, и она почувствовала его взгляд. Когда Малка вышла из комнаты, он молча, без единого слова любви, обнял ее и стал ласкать той странной, не знающей нежности лаской, которая роднит человека со зверем.

Если бы Лия ждала еще чего-либо от жизни, то подобная ласка Гордона ее оскорбила. Но впереди была печаль, еще более горестная, чем прежняя, и пустую любовную игру она приняла как счастливый дар. Она переменялась, ожила. Малка заметила тайную радость и неожиданную доброту в лице этой злой женщины и еще более опечалилась.

Однако сильнее, чем к кому бы то ни было, ревновала она его к Анне Бензен, которую Гордон не видел много лет. Она знала, что его часто встречают на Яффской улице. Он бывал один. Но могло ли это успокоить ее, запутавшуюся в подозрениях? А Гордон стал действительно прогуливаться по Яффской улице. Он несколько лет обходил ее стороной, чтобы не видеть итальянской гостиницы и не столкнуться случайно с Анной Бензен и ее матерью. Как-то он встретил шофера, возившего его из Яффы в Иерусалим, разговорился с ним и узнал, что тот выгодно устроился в большом английском гараже в Хайфе.



— Проводите меня,— попросил шофер.

Гордон охотно согласился, но когда узнал, что тому нужно на Яффскую улицу, остановился в раздумьи.

— Мне, собственно, надо туда... в обратную сторону.

Он сказал и устыдился своей слабости. Ладно, он пойдет на Яффскую улицу, еще, пожалуй, рано... в конце концов дело подождет.

Он увидел витой каменный балкон и два узких, как бокалы, окна. Балкон был пуст, окна заперты. Он проводил шофера, потом еще два раза прошелся по улице — сперва по правой, потом по левой стороне. С той поры он стал ходить на Яффскую улицу ежедневно, но ни разу не увидел ее. Однажды он услышал звуки рояля. В ее комнате играли, и хорошо пел мужской голос. В другой раз он заметил за белой занавесью высокую женскую фигуру и не понял: была ли то Анна Бензен или другая особа. В один день он просидел против ее гостиницы три часа. Наискосок от ее окна помещалась греческая кофейная, где целый день мололи кофе, жарили орехи и играли в нарды и домино. Он заказал три чашечки турецкого кофе, выпил три стакана воды, сыграл несколько партий в домино и даже выкурил под конец трубку кальяна. Балкон был пуст. Тени мелькали в комнате, отгороженные занавесями, и опять нельзя было разобрать, кто же там ходит. С той поры Гордон стал верить, что она придет случайно в кинематограф. Он высовывал голову из будки, разглядывал посетителей. Бензен не приходила. Наконец он не выдержал и во время прогулки по Яффской улице остановился у итальянской гостиницы. Он взглянул на пустой балкон, затем быстро вошел в вестибюль.

— Анна Бензен? — удивился портье. — Она здесь давно не живет. Загляните в контору: может быть, там знают ее новый адрес.

Но Гордон не пошел в контору. Он туда позвонил по телефону через три дня, и ему ответили, что госпожа Бензен поселилась на Греческой улице. Гордон дважды обошел Греческую улицу и, повернув в тре-

тый раз назад, столкнулся лицом к лицу с Анной Бензен и ее матерью.

— Здравствуйте, Анна,— тихо сказал он и остановился.

Обе женщины строго прошли мимо него, не ответив на поклон.

«Она не хочет меня знать» — печально подумал Гордон.

Он шел домой и всю дорогу ругал ее про себя:

«Ну, и чорт с ней! Презренная дура! Кокотка!»

Он обзывал ее мысленно площадными словами, потом заворчал на себя: «Зачем ты вспомнил ее, дурак! Так было хорошо без нее. Ты ведь ее забыл, забыл. Остолоп! Не надо было вспоминать!»

В этот вечер Малка некстати набросилась на него с упреками. Она знает, что он ходит на Яффскую улицу. Напрасно он думает, что она — дурочка. О, Малка очень хорошо знает, зачем он туда шляется. Почему он молчит?

Она, наконец, заставила его ответить, но он вздохнул и произнес только несколько слов:

— Ты попала пальцем в небо, Малка.

Она не унималась, и он, чтобы отвязаться, упрекнул ее любовью, которую она питала к Мусе. Она покраснела, и Гордон, давно забывший о статном арабе, снова почувствовал ревность, и, как в первые дни брака, его начала мучить мысль, что у его жены есть от него какие-то тайны. Он пристал к ней с вопросами, полными подозрения, и ей была приятна его ревность. И еще приятно было вспомнить Мусу и загородную его любовь и тайные их прогулки на Храмовой площади.

Затем все пошло попрежнему: подруги, Лия, бутылочка кармель, чрезмерный сон. Анна Бензен снова забыта, и Гордон не боится ходить по Греческой улице. Иногда он шагает по правой стороне, иногда — по левой и даже не вспоминает, что она живет где-то здесь. Он победил свое прошлое и не думает о том, что может с ней встретиться, а если бы и увидел, то равнодушно прошел бы мимо.



Как-то возвращался домой, остановился на базаре. Нидерланд-немец продавал «Историю Искусств» Муттера.

«Куплю» — подумал Гордон.

Спросил цену. Сперва пожалел денег, потом все же приобрел два толстых тома. Дома перелистал книги, с восторгом вглядывался в черные репродукции с картин Рубенса, Тициана, Рембрандта, Гольбейна, Тинторетто... в сотни упительных репродукций. Влюбленными глазами, как и прежде, остановился на миниатюрах Бенвенуто Челлини, и ему захотелось вернуться к работе. Он приготовил материалы, но день одолела, и оливковое дерево осталось необструганным.

«Я не живу — я гасну» — говорил о себе Гордон.

Но в период угасания он получил одно письмо, которое удивительно изменило его жизнь. В тот день он был пьян, так как поссорился с женой и напился от огорчения. Малка решила его хитро надуть, и хитрость ей удалась. Прodelка была следующая. Она уговорила старую соседку невзначай шепнуть Гордону, будто бы в Иерусалиме снова появился Муса, и араб посещает их дом. Соседка охотно согласилась: жить осталось ей мало, и единственной радостью, способной сократить последние дни, были чужие семейные скандалы.

— Господин Гордон!

— Что?

— Имею ли я право на сон?

— Конечно. Но при чем тут я?

— Так вот, — обиженно заскулила соседка, — ваши гости не дают мне спать.

— Не понимаю.

— Скажите вашему арабу, чтоб не хлопал так сильно дверьми, когда уходит. Каждый раз! Я просыпаюсь каждый раз!

— Какому арабу?

— Ну, тот самый, высокий... Боже мой, вы же должны знать своих гостей лучше, чем я.

Гордон ужаснулся своих мыслей. Значит, Муса опять посещает его дом, как посещал дом его ребе? Он по-

дождал жену — она была на базаре — и встретил ее криками.

— Распутница! Я ухожу от тебя! Я не смогу больше быть мужем обманщицы.

— Но ведь и ты обманываешь меня, — с удовольствием ответила Малка.

Гордона потрясли ее слова.

— Как?! Ты даже не отрицаешь своей связи с Мусой?

— Разве тебе не все равно, Александр?

Она увидела слезы на его глазах и быстро сообразила, что сделала его жертвой хитрости. Он сперва не поверил, но потом возмутился ее поступком и, ругаясь, ушел из дому. По дороге в кинематограф Гордон заглянул в греческую харчевню и там напился. Посетители кинематографа удивленно пересмеивались, замечая ослепленные глаза и дрожащие руки кассира. Отпуская билеты, Гордон неожиданно нашел на конторке вместо денег письмо. Он выглянул из окошка. Вокруг никого не было.

— «Александр Гордону» — прочел он на конверте.

За окошком сидели в ожидании сеанса люди. Они не видели, кто положил письмо. Гордон опустил окошко. Почувствовал, что сразу протрезвел. Разрывая конверт, решил: «От Анны Бензен».

Закрыв ладонью конец письма, чтоб не бросилась в глаза подпись. В краткий миг придумал множество возможностей. Она кается. Она тоскует без него. Она жалеет о своем поведении. Она ищет в нем спасения. Волнуясь, стал читать.

— «Мой друг!

Привет тебе из Каира! Помнишь ли ты еще меня?..»

«Нет, не от Анны» — понял Гордон и убрал ладонь с подписи. Увидел последние слова: «Твой Ровоам Висмонт».

Почувствовал разочарование и огорчился, что разочарован получением письма от любимого друга. Затем успокоился и прочел все от начала до конца. Висмонт писал из Египта:

— «Друг Александр! Я с большим опозданием



узнал, что Герш Гублер сидит в Аккрской тюрьме. Мне, я ничего не могу для него сделать. Я живу далеко и служу здесь канцеляристом в банке. Меня с большим трудом устроили на это серое место. Помогло мне то, что я — сын своего отца, имевшего много друзей в Палестине. Здесь, в Каире, живет бывший управляющий ротшильдовской фермой. Сейчас он — директор одного из отделений Египетского банка. Принимая меня на службу, он дал мне понять, что все дело в моем отце и что я должен оправдать доверие... Тебя приветствует моя жена. Да, я женат, Александр. Она — англичанка и работает машинистской в нашем банке. Если б мой десятимесячный сын мог говорить, он бы тоже приветствовал тебя. Как живет Малка, Лия и другие?.. Теперь поговорим о деле, дорогой Александр. Надо спасти Гублера, надо вытащить его, правдой или неправдой, из Аккрской тюрьмы. У тебя есть связь, Александр. Разумеется, ты сделаешь все, что можешь. Я решил: посылать тебе письмо по почте неудобно и вредно и потому пользуюсь оказией. Напиши мне, Александр».

Взволнованный Гордон еле просидел до девяти часов вечера, когда прекращается продажа билетов. Он много раз перечитывал письмо, и им овладели странные и беспокойные чувства. Захотелось сейчас же совершить нечто такое, что могло бы зачеркнуть все последние годы. Его спокойная жизнь, к которой он давно привык, показалась ему непонятной бессмыслицей. Сомные дни и постоянные несложные ссоры — какая мерзость! Кармель по утрам и вечерам — мерзость. Партия домино с соседом, интриги с подругами жены, угасшие желания — все мерзость, мерзость.

Он вдруг вспомнил, что не вспоминал давно: свою старую родину и старых друзей в покинутом городе, и дочь городского, и бюсты Робеспьера и Марата, и стрельбу на улицах, и шествия, и траурные марши... Он шел домой, грустный, но грусть его была возвышенна, и Гордон чувствовал, что и грусть его иная, и был смущен и доволен внезапной в себе переменой. Когда на пороге дома его встретила печальная и испу-

ганная Малка, он почувствовал к ней нежность, поцеловал в обе щеки и заплакал. И когда, воспользовавшись отлучкой жены, Лия по-хозяйски потянулась к нему, он отстранил ее и, как в старину, почувствовал к ней отвращение. Она спросила:

— Что это значит?

— Летаргия, — ответил он.

— Не понимаю.

— Летаргический сон, Лия. Я проспал много лет. Где-то там обрывается нитка моей жизни, и вот нужно взять ту нитку и продолжить ее, а все, что было посередине, выкинуть. Я похож на путника, который заблудился. Он шел прямо и незаметно свернул. Ему надо было сделать всего десять километров, а он прошел пятнадцать... Обидно! Он сделал пятнадцать километров, а в его походный список записывается только десять...

— Туманно, — сказала Лия.

— Я еще похож на человека, у которого было много камня, дерева и стекла, достаточного для постройки дома, но он оказался дураком и воздвиг две стены, а будут ли еще новые материалы — неизвестно...

Он смотрел на Лию и думал: ведь у нее большие связи там, в Национальном комитете. Не попросить ли ее похлопотать за Гублера? Нет, он этого не сделает. Сегодня ночью он разработает план. Он добьется сам... Но к кому обратиться раньше всех?

Все следующее утро Гордон писал письмо Висмонту. Ему казалось, что Ровоам презирает его, и хотелось самому унижить себя перед другом и тем самым возвыситься в его глазах. Отправив письмо, он попросил Малку подежурить за него несколько дней в кинематографе.

— Я уезжаю в Тель-Авив. По делу, Малка. Не спрашивай. Когда вернусь, скажу.

В ожидании поезда написал на вокзале еще одно письмо Висмонту: «Ровоам, я делаю для тебя миниа-тюру. Скоро вышлю».

Еще не знал, что же именно сделает, но очень захотелось послать Висмонту удачную вещицу и тем самым



еще раз возвыситься в его глазах. Сидел на вокзальной скамье, томился и чувствовал, что руки чешутся от желания работать. Огорчался, что не захватил с собой забытый кусок оливкового дерева: в поезде можно было бы постругать. Все время думал: не ехать ли в Явне, к Шухману? Нет, не сейчас, потом... если ничего не удастся сделать. Верил в удачу. Все больше вспоминал юность, много думал о себе, ругая себя, что забросил переписку. Захотелось написать третье письмо Висмонту, но воздержался.

В тот же день, в два часа, Гордон приехал в Яффу. В четыре — он постучался в дом известного адвоката Ильи Халлаша.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Жил в Одессе в конце девятнадцатого века агент колониальной фирмы Соломон Халлаш. Имел контору на Греческой улице, где на прохладных полках лежали запечатанные пакеты с рисом, перцем, кокосовыми орехами, филиками и стояли бутылки, наполненные старинными винами. Соломон Халлаш брал с собой каждое утро груды пакетов и бутылок. Он называл их образцами и разносил по городу вместе с роскошными многоцветными, богато разрисованными прейскурантами. Копил деньги, скупал ковры и мебель, воспитывал детей. Путь юного Ильи старый Халлаш усеял взятками, как розами. Была в четвертой гимназии четырехпроцентная норма, но Соломон Халлаш дал полицеймейстеру сорок рублей, а директору гимназии вручил сотенную. Сына допустили к экзаменам. Когда Соломон Халлаш узнал, что два преподавателя собираются провалить его мальчика, желающего поступить в третий класс, то пригласил обоих преподавателей к себе на ужин. Они в тот вечер пили и ели, как никогда в жизни. Вернувшись домой, каждый обнаружил у себя в передней ящик с вином и конверт с запечатанной в нем двадцатипятирублевкой. Легко было учение молодого Ильи Халлаша. Он всходил на взятках, как на дрож-

жах, и цветущей была колея его жизни. Сын кончил гимназию. А по дороге в университет можно было пройти только тому, кто плотно утрамбовал ее взятками. Старый Халлаш дал полицмейстеру сто рублей, попечителю учебных заведений — сто тридцать, трем профессорам — по пятьдесят и ректору Новороссийского университета — триста. Перед зачетами все профессора получали мешки с кокосовыми орехами и ящики с вином. Так молодой Илья кончил юридический факультет, так он сделался секретарем у известного адвоката Валерия Станиславовича Маглай-Ягузинского, которому отец вручил чек на пятьсот рублей. Так Илья Халлаш сделался помощником присяжного поверенного. Так он сделался адвокатом. Был еще жив отец, и вместе с сыном они поняли, что молодой звезде не хватает сияния, то есть славы. Они пригласили на ужин двух фельетонистов из «Эхо Юга» и «Черноморского листка». Откупоривая бутылки поммери, оба фельетониста привычным взглядом заметили под тарелками с салатом по семьдесят пять рублей. Через три дня появились два судебных отчета о деле наследников Вальбе, разбиравшемся в окружном суде. Журналисты с восторгом отмечали выдающиеся способности молодого адвоката. В «Эхо Юга» статья была озаглавлена «Новый Плевако», а в «Черноморском листке» — «Редкий дар красноречия». Глупый народ поверил газетам, и с тех пор дело наследников Вальбе стали называть нашумевшим. Илья Халлаш прославился. Густо пошли к нему клиенты, и через несколько лет он выстроил для себя в поселке Самопомощь, на пятой станции, каменный коттедж, крытый черепицей, с четырьмя террасами, двумя длинными и узкими, отлитыми из цемента, бокалами на фасаде, и садом, где росли каштаны и маслины, где на деревьях повисли гамаки и на дорожках были расставлены щезлонги. Он пожертвовал для общества помощи бедным пятнадцать рублей, для «Капли молока» — двадцать и столько же внес в Погребальное братство и Общество помощи больным. Так он прослыл благотворителем. Затем он купил на пятьдесят рублей шекелей и произнес речь в синагоге



Явне. Так его стали уважать в сионистских кругах. Уже у него родился сын, уже сын пишет стихи о Сионе, но редактор журнала «Щит Давида» сказал, что стихи плохи, и их нельзя напечатать. Тогда адвокат навестил редактора-издателя и заявил ему, что согласен подписаться на сто экземпляров, если тот будет более внимателен к его сыну. Стихи были напечатаны. Так жил в Одессе известный адвокат Илья Халлаш.

Сейчас Гордон стоял у ворот его дома на улице Алленби. Он с удивлением рассматривал знакомую обстановку. Покинув Одессу, адвокат выстроил здесь тот же дом, с теми же бокалами на фасаде, с той же крышей и террасами и разбил такой же сад, в котором, правда, было больше маслин и росли четыре пальмы. Кто-то полулежал в шезлонге, кто-то качался на гамаке, кто-то играл на фортепьяно. Двор был укатан гравием, по дорожке бегала маленькая собачонка, откормленная и голая.

Адвокат сам открыл дверь своей квартиры. Прошли, говорил он, золотые одесские времена. Здесь, в Палестине, было мало клиентов, и он радовался каждому посетителю. Он усадил Гордона на диван, поставил перед ним сифон с шипучей водой и сказал:

— Я вас слушаю.

Он мрачнел с каждой минутой. Гордон видел: он в одно время и злится и изображает злость. Летели в сторону перелистываемые бумаги, с шумом тыкался в пепельницу окуроч, скрипело кресло.

— Нет,— сказал Илья Халлаш,— я не возьмусь за ваше дело.

— Почему?

— По-моему, ясно,— ответил тот:— вы забыли, что я не только адвокат, но и член партии Ахдус-Гааввадо.

— Адвокат должен защищать всех,— возразил Гордон.

— Кроме бандитов, разрушающих счастье своей родины,— сказал Халлаш.

Гордон промолчал, затем особым, душевным голосом произнес:

— Господин Халлаш, я помню ваш дом в Одессе.

— Вы помните?— обрадовался адвокат.

— Да. И поселок Самопомощь и Каштановую улицу...

— Не думайте, пожалуйста, что я о нем скорблю, о своем доме!— вдруг воскликнул адвокат.— Будьте уверены, что если бы я остался там, большевики не посмели бы меня тронуть. Я — лицо известное. Не тронули же они Шалыпина.

— Конечно,— польстил ему Гордон,— вы же — не буржуй, а интеллигент. И потом вы когда то выступали на политических процессах. Я помню ваши пламенные речи... Особенно по делу студентов медицинского факультета.

— Вы помните!— весело воскликнул Халлаш.— Да, я в те дни был в ударе. Это — одна из лучших моих речей.

— Господин Халлаш, вы когда-то защищали политических,— сказал Гордон.— Так неужели вы можете осудить бедного Гублера, который возмутился тем, что французы разоряют друзей...

— Это — арабская агитация,— строго произнес Халлаш.— А еврей, ведущий арабскую агитацию,— наихудший враг. Кроме того, приговор по делу вашего товарища уже давно состоялся... Он ведь уже бог знает сколько времени отбывает срок наказания. Ничего не могу для вас сделать.

Адвокат встал, отошел к окну.

— А кассация?

— Я же сказал, что ничего не выйдет.

И адвокат угрожающе забарабанил пальцами по стеклу. Оба молчали.

— Нет, ничего не могу сделать,— повторил адвокат.

Он повернулся и опять отвернулся. Положение стало невыносимым.

— Ладно,— сказал со вздохом Гордон и ушел не попрощавшись.

В тот же вечер он побывал еще у адвоката Сокера и снова выслушал отказ. Ему захотелось проникнуть к самому Хайму Вейцману, но знакомые его отговори-



ли: у Гордона плохая репутация, своими хлопотами он может только навредить товарищу. За Гублера должны просить другие люди, например, старые колонисты. Они могли бы составить прошение к Хаиму Вейцману или к другому главарю Национального комитета. Тогда-то Гордон и решил поехать в Кадимо и попросить старых колонистов вмешаться в судьбу Гублера. Пускай они его не знают, но зато для них звучит память о старом Висмонте. Он покажет им письмо из Каира, а в Кадимо живут друзья отца Ровоама.

Машина уходила утром. Гордон провел остаток вечера на поплавке. Здесь он когда-то сидел за столиком, голодный и нищий. Сейчас он мог заказать себе любое блюдо и не стесняться своего костюма. Женщины иногда смотрели в его сторону. Их было много, нарядных и красивых. Он с любопытством оглядывал их и радовался, что его уже не мучают похотливые желания. Он обдумывал сюжет для миниатюры: зубцы горы Кармель, зубцы Аккрской тюрьмы, между ними — море. На высокой скале — высокий замок. Окно под решеткой, и в стальные прутья впилось бледное лицо Гублера. Гора пуста, море пусто и пуст тюремный замок. Гублер окружен безмолвием и мраком...

— Я вам посоветую...— раздался над головой Гордона чей-то голос.

— Что? — испуганно спросил Гордон.

Выпрямился и заметил кельнера.

— Посоветую бутылку мадеры. Не спрашивайте о качестве. Редкое вино! Прикажете подать?

Выпил стакан. Снова разглядывал публику. Два английских офицера танцевали с двумя еврейскими девушками. Видно было, что девушки гордятся. На эстраде играли румбу. Кто-то кричал: «Ура!» Звенели бокалы.

— Поднимите бокал.— услышал Гордон.— мы пьем за здоровье приезжающих.

Он заметил толстого человечка в золотых очках с потрясающе черной, будто ее выкупали в смоле, бородой.

— Почему вы не пьете за здоровье приезжающих? Ура!

Оказывается, восклицания относились к Гордону. Он наполнил стакан, сделал два-три глотка, крикнул «Ура», затем спросил:

— А кто приезжает?

— Неужели вы не знаете? — удивленно сказал черный человечек.

Он принял торжественную позу и важно произнес:

— Завтра на рассвете в Яффский порт прибудет пароход «Мажестик» с беженцами из Германии. Мы все идем их встречать. Вы колонист?

Гордон утвердительно кивнул головой, позвал кельнера и покинул ресторан. В гостинице он нашел кусок простого дерева и долго стругал его перочинным ножом. Спал плохо. На рассвете, перед тем как отправиться в Кадимо, пошел пешком в Яффу. На пристани было множество народу. На рейде показались два парохода. Гордон рассеянно разглядывал их. Черный человечек оказался рядом.

— Вы не туда смотрите, — сказал он Гордону, — берите влево. Вот наш пароход. Видите, какой гигант? Это — новый французский корабль. А то вы уткнулись носом в какой-то советский пароходишко.

— Тот — советский пароход? — спросил Гордон.

— Ну да, «Декабрист». Он часто заходит сюда с грузом. Только мы здесь никого не пускаем на берег.

— Вы или англичане? — спросил Гордон, по-дурацки раскрыв глаза, с деланной туповатостью в голосе.

Черный человечек строго на него посмотрел, принял вчерашнюю торжественную позу и ответил:

— Мы и англичане. Потому что Палестина управляется нами с помощью наших друзей-англичан.

Черный человечек отошел. Прячась от него, Гордон украдкой поглядывал на советский пароход. Он миновал маяк, остановился на рейде. Команда высыпала на борт. Капитан стоял на мостике, с кем-то разговаривал.



В то же время на рейде остановился и «Мажестик». Оттуда посыпалось множество народу. Кричали с парохода, кричали встречающие. Сустились носильщики, шиньряли автомобили. Гордон видел, как от тысячной толпы отделилось человек двадцать-тридцать. Встречающие кинулись к ним. Это и были беженцы из Германии.

— Маловато,— подумал Гордон.— Не многим, видно, удалось выехать. Я полагал, что они заполнили весь пароход.

Скоро соседняя пристань опустела, а около «Декабриста» было так же тихо. Оттуда не сошел ни один человек. Группа полисменов образовала вблизи места, где стоял пароход, живой квадрат. Гордон отошел дальше, а затем оглянулся и увидел, как по трапу спускается капитан. Он долго следил за ним и, заметив, как тот поднимается в город, пошел следом. Когда капитан очутился наверху, Гордон робко к нему приблизился и поднял шляпу.

— Что угодно?— спросил капитан по-английски.

— Вы возвращаетесь в Одессу?— спросил по-русски Гордон.

— Да.

Капитан разглядывал его внимательно и осторожно.

— Завтра?

— О, нет!— сказал капитан.— Мы отсюда еще пойдем в Порт-Саид, затем вернемся опять в Яффу.

— Когда?

— Через три недели.

— А потом в Одессу?

— Потом в Одессу... Простите, я спешу.

Гордон шел обратно в Тель-Авив, и его душа была полна грусти и мечтаний. Ему захотелось вернуться этим пароходом в его родной и давно покинутый город. Он обдумывал всевозможные планы и видел сны наяву. Мечтая, он воображал: снова произойдет случайность, он каким-то образом—неведомо каким— снова очутится в трюме и проваляется там четыре дня, а затем выйдет на палубу и увидит родную зем-

лю, которую он обманул. Вот волнорез. Вот яхт-клуб. Вот Николаевский мол и Арбузная гавань. В море вонзился желтый Дофиновский мыс. Лежит в огнях и дыму Пересыпь. Он поднимается по лестнице, встречает старых друзей... Что потом? Тут мечты обрывались. Дальнейшее было темно, неразлично.

Вечером он приехал в Кадимо и остановился у одного из старых колонистов. Сказал, что приехал просто так, без дела, посмотреть. Обещал жене колониста хорошо заплатить за ночлег. Лег спать. Утром его пригласили к столу.

— Вы знали старого Висмонта? — невзначай спросил Гордон.

— Еще бы: это был мой лучший друг.

— Кстати, его сын сейчас в Каире.

— Умный парень, — сказал колонист, — хороший и добрый человек. Похож на отца.

Гордон вел разговор осторожно. Намекал, выведывал, менял тему беседы.

— Значит, вы приехали к нам просто так, без дела? — спросил колонист.

— Нет, — ответил Гордон, — я соврал. Я приехал к вам по делу, по важному делу... по делу о спасении души.

— По делу о спасении души? — повторил колонист. — Чья же душа страдает?

— Душа Герша Гублера.

Колонист не знал такого имени. Но когда Гордон рассказал ему историю своего товарища, тот воскликнул:

— А! Я слышал! Это тот самый молодой человек из Явне... Он давно сидит?

— Мне стыдно о нем говорить, — сказал с огорчением Гордон. — Помню, что и мне сказали о его аресте, но в ту пору сердце мое очерствело и мозг заснул. Я посочувствовал и забыл. Но есть человек, чье сердце и мозг никогда не покроются корой усталости... Он напомнил мне, и я проснулся. Сын Висмонта Ровоам просит вас помочь Гершу Гублеру.

Колонист горестно засмеялся.



— Сказки! Что мы можем сделать? Кто мы в глазах англичан?

— А петиция на имя Хаима Вейцмана?

— Петиция? — удивленно повторил колонист. — Ах, мне думается, что если дело дошло до тюрьмы, то и сам Вейцман бессилен!

— Но он может попросить резидента.

— Это правильно, — сказал колонист.

Тогда Гордон встал из-за стола и посмотрел в упор на колониста.

— Вы бы подписали такую петицию? — спросил он, не отводя от него глаз.

— Я? — сказал колонист. — Подпишу ли я?

Он растерялся, умолк, но потом тихо ответил:

— Почему не подписать? Подпишу. Но ничего из этого не выйдет: тут надо брать выше.

Они разговорились об английской полиции и военных властях и о генерале Сторрсе, который презирает и третировал евреев. Его высокомерие и надменность известны каждому, кто когда-либо вздумал к нему обращаться.

— Ну, скажите, — сказал колонист, — чем он лучше царских губернаторов... какого-нибудь Рейнгардта или Толмачева. Жизнь — дрянь, навоз. Мы уехали из николаевской России с чиновниками, слепленными из подлости и злобы, с еврейскими погромами и нашли здесь другую николаевскую Россию...

— Вам не кажется, — осторожно произнес Гордон, — что мы уехали из старой России, но снова попали туда в то время, когда там старой России уже нет?

— Не знаю, — ответил колонист.

Гордон рассказал о пароходе «Декабрист» и о том, как ему вдруг захотелось туда... домой... по ночам снится ему: он чудом уедет. Своими рассказами Гордон снова пробудил в колонисте чувство тоски по той родине. Оно быстро передалось всем колонистам, и воцарились в Кадимо прежние настроения, и, если забылась речь Ильи Шухмана, то снова вспомнилось письмо Джемса Броуна.

— Мы бы там очень пригодились,— сказал один из колонистов:— ведь у них теперь есть Биробиджан.

Стали спорить: пустило бы их советское правительство или нет, если бы они подали прошение?

— Кому?— удивился Гордон.— Здесь нет советского посла.

— Можно послать бумагу в Лондон.

— Зачем в Лондон?— сказал другой.

— А куда?

— Прямо в Биробиджан.

— Уж тогда лучше в Москву,— сказал Гордон,— самому Калинин.

— Не знаем,— отвечали колонисты и смеялись смехом безверия.

Гордон пробыл здесь три дня и добился того, что многие подписали петицию. Он встречал и отказы— то суровые, то равнодушные. Были такие, что обещали подписать, но в нужную минуту исчезали. Но двадцать семь человек смело поставили свои имена под петицией на имя Хаима Вейцмана, и Гордон увозил из Кадимо эту бумагу как священную реликвию. На прощанье ему показали пожелтевшее письмо Броуна. Он долго вглядывался в строки американца, в конверт и почтовую марку, и сердце его еще больше запылало от мечтаний и грусти.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Гордон надеялся: в эти три недели, пока пароход «Декабрист» совершит рейс в Порт-Саид и обратно в Яффу, что-то произойдет.

Ничего не произошло. Пароход давно отплыл в Одессу. С той поры прошло два месяца. Гордон несколько раз приезжал в Кадимо, но колонисты не получали из Тель-Авива никаких вестей. Их просьба осталась безответной. На днях Гордон кончил работу над новой миниатюрой. Он отослал ее Висмонту. Поймет ли Ровоам, что миниатюра имеет секрет? Если смотреть на нее прямо, видна гора Кармель, Аккрский



ламок, море, но если повернуть ее влево и сосредоточить взгляд на определенной точке, можно разглядеть сияющее от худобы и бледности лицо Гублера, отгороженное узкой и частой решеткой. О, Ровоам все понимает! Он догадается, что миниатюра сделана неспроста.

В пятый свой приезд в Кадимо Гордону сообщили, что двадцать два колониста решили послать петицию Калинину. Они — старые и опытные земледельцы и просят их пустить в Биробиджан.

— Нечего жаловаться на английских резидентов, если в нас перестали нуждаться и наши главари, — говорили колонисты.

— Они посмели оставить без ответа письмо сторожей пустыни, — возмущались старики.

— Кто, как не мы, открыли им сюда дорогу?

Гордон попросил у них разрешения поставить и свою подпись под петицией. Подписывая бумагу, он не верил в возможность благополучного исхода. Встретившись через неделю с одним из колонистов, подписавших письмо, он даже не спросил: отправлена ли петиция по адресу или новая затея оказалась брошенной.

И снова письмо из Каира:

«Надо спасти Гублера, правдой или неправдой. Благодарю за миниатюру. Она великолепна и многозначительна».

Как и в прошлый раз, письмо было им обнаружено внезапно, на конторке кассы в кинематографе. Похвала Висмонта дала его душе большое веселье, какого не знал он давно. Он решил послать ему еще одну миниатюру и в ту же ночь стругал пальмовое дерево, хотя в голове не было еще никаких сюжетов, и он не знал, что смастерит. На другой день, в двенадцать часов, он пошел на Греческую улицу и разыскал дом, где жила Анна Бензен; он забыл, что люди безделья только продирают глаза в те часы, когда люди труда уже покрыты потом от долгой работы. Позвонил. За дверью было тихо. Он позвонил еще раз — более звонко и продолжительно. Никто не засуетился в ком-

натах, не раздались шаги. Тишина. Так простоял он у дверей полчаса и только тогда дверь, наконец, полуоткрылась. Высунулась голова прислуги.

— Госпожи спят еще,— произнесла она с удивлением.

Из дальней комнаты послышался голос: «Кто там? Узнай фамилию».

Затем к двери подошла мать Анны Бензен. Ее лицо опухло от сна и руки сложены крест-накрест. Она придерживала ими полы расписного персидского халата. Увидев Гордона, остановила на нем долгий взгляд: как бы вспоминала. Он понял ее притворство, покраснел от злости, но стерпел. Она стояла перед ним важная, вся подернутая высокомерием, как тучей.

— А, вы тот самый молодой человек. Художник?

Он стоял на пороге униженный, бледный.

— Вы спрашиваете Анну? Ее нет дома.

Повернулась. Ушла. Прислуга с улыбкой захлопнула за ним дверь. Спустился по лестнице, медленно зашагал по тротуару, остановился, двинулся дальше — еще более грустной и медленной походкой. Вдруг его окликнули. Овернулся. Увидел запыхавшуюся прислугу.

— Идите назад,— сказала она,— молодая барыня просят вас к себе.

Снова навстречу вышла мать. С тем же высокомерием оглянула, произнесла:

— Я не хотела вас принять, господин Гордон, но моя дочь добрее меня.

Остановился в раздумьи: в какую дверь?

— Прямо. Нора, зажгите свет.

Сделал несколько шагов по коридору, открыл без стука дверь и, смущенный, остановился на пороге. Анна лежала в постели яркая, сияющая — в вечернем гриме, с тщательно взбитой прической. Из-под одеяла видна длинная белая голая спина. В комнате накурено, жарко. Заметил на туалетном столике множество хрустальных флаконов и крохотных баночек в золотой и серебряной оправе. Заметил вскрытую коробку с сигаретами.

— Садитесь, Александр, я вас так давно не видела.



Смотрела на него, широко улыбаясь, весело и нагло. Позевывая, вытянула длинные руки, покрытые легким рыжим пухом, с узкими ладонями и блистательно-розовыми ногтями.

— Мне сказали, что вы ушли, и я послала за вами вдогонку.

Полуприсела и обнажила бедро. С удовольствием поймала его беспокойный взгляд. Долго не закрывалась, потом небрежно подтянула одеяло.

— Как живете? Рассказывайте. Садитесь наконец!

Завернулась в одеяло, отодвинулась, показала: вот здесь можно сесть. Он опустил на ее кровать, смущенно сторонился, хотел быть подальше от ее тела. Протянул руку за сигаретой, в задумчивости раскручивал табак.

— Дайте и мне.

Когда зажигал спичку, столкнулись лбами. Знал, что она убеждена: вот-вот грянет поцелуй. Не поцеловал, несмотря на исключительные удобства момента. Взглянула на него снизу, затем сбоку, взяла за руку, засмеялась.

— Ого! Вы грустный?

— Да, Анна.

— Неужели вам мало того, что я согласилась принять такого негодяя... то есть вас? Говорите скорее: в чем причина вашей грусти?

Взял руку, лежавшую на его колене, стал незаметно гладить ее своими огрубевшими от строгальной работы пальцами.

— Вы можете мне помочь, Анна.

— Вот как!

С оскорблением отдернула руку. В глазах заиграла злоба. Они сузились, вдруг стали противными.

— Значит, вас привела ко мне корысть? Может быть, вам нужны деньги? Говорите!

— Нет, Анна, денег мне от вас не нужно.

Заговорила быстро и зло, будто зашипела.

— Я раскаиваюсь, что приняла вас, что допустила... Надо было гнать... Гнать... Встаньте и отвернитесь: я буду одеваться.

Стоя к ней спиной, Гордон все же увидел, как она соскочила, голая, с кровати, как застегнула на спине лифчик и набросила халат. Позвонила. Горничная принесла кофе, два тонких ломтика сыра, булочку.

— Согрейте кофе для господина Гордона.

Сидели друг против друга. Пили кофе. Он видел: гнев ее улегся. Робко сказал:

— Милая Анна, я бы не стал хлопотать о себе.

Внимательно слушала его рассказ. Переспросила: «Герш Гублер?» Переспросила: «В Аккрском замке?» «Английская полиция?»

Задумчиво произнесла:

— Да, сложное дело.

— Соедините меня с господином Аттолико. Попросите итальянскую миссию.

Он позвонил, передал ей трубку.

— Аттолико? Доброе утро! О, нет, я уже давно не сплю. Встала в девять. Верьте не верьте, как хотите. С кем? Я уже с ним под не танцевала. Ну, знаете, ваше племя мне изрядно надоело. Подождите с новостями, Аттолико, у меня к вам дело. Во-первых, мне нужно сегодня же вас повидать, во-вторых, я прошу устроить мне свидание с Речгильдом...

Закрыв ладонью трубку, повернулась к Гордону:

— Это — секретарь губернатора.

Продолжала разговор:

— Когда? В одиннадцать? Хорошо. Где? У меня? Хорошо. Жду вас, Аттолико...

Он смотрел на нее с восторгом. Ее отзывчивость показалась ему необыкновенной. Он уже верил, что Гублер будет спасен.

— Как я благодарен вам, Анна! Вы оказались куда лучше и выше, чем я думал.

— Потому что вы думали обо мне плохо, — обиженно воскликнула она, — вы отвратительно думали обо мне, Александр. Что вас тогда испугало? Неужели эти семь фунтов? Но я ведь вам отдала бы их через несколько дней. Моя любовь к вам была бескорыстной. Не верите?

— Сейчас верю.



Он сидел перед ней с опущенной головой, в позе горчайшего раскаяния

— Семь жалких фунтов,— повторила она.

— У меня их не было, Анна.

— Почему же вы тогда не сказали? Нет, это тоже не оправдание. Вы должны были их достать, если я просила.

Подошла к столику, расшвыряла баночки, гребенки, флаконы.

— Смотрите, здесь каждый пустяк стоит больше семи фунтов.

Раскрыла шкаф, где на плечиках повисло множество платьев,— открытых и закрытых, шелковых и шерстяных, коротких и длинных, гладких и расшитых цветами.

— Здесь каждое платье стоит больше семи фунтов.

С шумом захлопнула шкаф, обиженно повела плечами.

— Идите, Александр. И знайте, что я сделаю для вас все, что смогу. Завтра днем позвоните.

Он захотел поцеловать ее на прощанье в лоб, но она отстранилась. Прикоснулся губами к руке, благодарно посмотрел в глаза и, пятясь, покинул комнату.

— Да,— сказала она на другой день в телефон,— мне уже удалось повидать секретаря. Приходите обедать.

За столом ничего не сказала о деле. Между тем болтала много. Говорила о знатных людях, о богатых, о счастливых. Приезжал американский турист. Говорят, внук Рокфеллера. Все знакомые сбежались посмотреть на его автомобиль. Он стоит шестьдесят тысяч долларов. Его сделали по особому заказу. Ни у кого нет такой машины. У него был званый ужин. Каждая бутылка ликера стоила тридцать и пятьдесят долларов. Губернатор Сторрс — знаток красоты и эстет. Он не позволил прокладывать в Иерусалиме трамвай. Губернатор сказал: рельсы и вагоны нарушат стиль города...

Болтали больше часа. Гордон заглядывал ей в гла-

за, хотел узнать, какие новости, но Анна была непроницаема. Когда кончился томительный обед, она прошла с ним в свою комнату и, усадив его, сказала:

— Итак, я узнала. Дело ваше оказалось еще сложнее, чем я думала. Ваш друг приговорен к трем годам заключения. Он отсидел всего семь месяцев. Мелкие власти ничего не могут сделать. Его судьба — в руках губернатора. Однако есть обстоятельство, мешающее спасти вашего друга. Есть причина...

Она посмотрела на Гордона, улыбнулась, ждала вопроса.

— Какая причина?

— Она в вас... вернее, в вашей скупости.

Гордон молчал, чувствовал недоброе.

— Только один человек,— продолжала Анна,— может повлиять на губернатора. Это — его секретарь. На секретаря же можно повлиять, тряхнув кошельком.

— Сколько? — спросил помрачневший Гордон.

— Когда-то,— сказала Анна,— вы пожалели семь фунтов для женщины, которая вас любила, а здесь нужно больше, гораздо больше...

— Сколько? — повторил Гордон.

— Я сомневаюсь, чтобы у вас были такие деньги. Но если, кроме вас, еще кто-нибудь интересуется судьбой вашего друга...

— Сколько?

Она вдруг смутилась, заложила руки за спину, тихо произнесла:

— Секретарь просит пятьсот фунтов.

— Пятьсот фунтов! — с ужасом воскликнул Гордон, — пятьсот фунтов!

Его озадачило ее смущение. Ему казалось: она не сразу назвала сумму. Показалось еще, что Анна сперва хотела сказать больше.

— Это же — фантастические деньги,— проговорил он.

Скосив глаза, он следил за ней исподволь. Следующими словами она еще сильнее укрепила возникшее у него подозрение.



— Интересно, какую сумму,— сказала она с деланным равнодушием, и он это деланное равнодушие заметил,— какую сумму вы могли бы среди своих товарищей собрать? Вы же не один хлопчете, не правда ли? Вас много? Да?

— Какую сумму...— пробормотал Гордон,— какую сумму...

Она взяла его за руку, ласково сказала:

— Если бы вы могли собрать триста-четыреста фунтов, то я бы уломала этого негодяя... В крайнем случае, я бы продала для вас свое кольцо. Вы можете собрать триста фунтов?

Подозрение росло. Гордон продолжал ловить исподволь ее движения.

— Возможно,— сказал он,— такие деньги мы, может быть, соберем. Когда вы разговаривали с секретарем, Анна?

— Вчера днем.

— Но вы ведь только сегодня должны были встретиться с господином Аттолико?

Он заметил, как она покраснела и ласково спросил:

— Значит, вам удалось увидеть его раньше?

— Конечно,— быстро ответила она.— Вы знаете, мы встретили его с мамой на Храмовой площади. К нам заглянули друзья из Эстонии. Они, конечно, захотели посмотреть все иерусалимские достопримечательности. Вот мы и пошли с ними... Очень скучная обязанность. Фрекен Хальмар, к тому же, такая дура... и вот с таким ртом... как удав!

— Кто это фрекен Хальмар?

— Дочка этих провинциалов... Вы знаете, Александр, я подозреваю, что они здесь хотят выдать ее замуж. Трудное предприятие! Вы бы взяли в жены девушку, у которой рот величиной с Атлантический океан?

Она засмеялась. Улыбнулся и Гордон, улыбнулся и заметил, как обрадовала Анну его улыбка.

— Я как раз шла с этой большеротой, и вдруг к нам навстречу господин Аттолико. Он тоже тащил за собою каких-то туристов... Мы оттуда же пошли к

секретарю. Я попросила господина Аттолико оставить нас... Вы знаете, мне ведь пришлось с ним поторговаться. Он потребовал тысячу фунтов. Я ему сказала, что это сказка и что за несчастного хлопочут бедные люди...

Подозрение росло, росло. Как-то сбоку взглянул на нее Гордон, вдруг спросил:

— А что, если бы я сам поговорил с вашим секретарем?

Он заметил: Анна вздрогнула, побледнела.

— Ни в коем случае! — воскликнула она. — Вы губите и себя и вашего друга. Глубокая тайна! Я убеждена, что Речгильд сделает вид, будто ничего не знает...

Больше не надо было подозревать. Непонятное стало понятным. Уловил в ее взгляде тревогу и злобу. Встал со словами:

— Сегодня поговорю с товарищами. Соберем деньги. Я к вам завтра приду, Анна. Хорошо?

Она не замечала игры. Еще раз коснулась его своим телом, разбросала прическу, неожиданно обняла, стала целовать. Поцелуй был долгий, порочный.

Гордон надевал в передней пальто. Увидел мать Анны, подобострастно улыбнулся, сказал:

— Я вас вчера видел на Храмовой площади.

— Вчера? — удивилась старая Бензен. — Но мы не выходили из дому.

— С господином Аттолико!

— Вы ошибаетесь, Александр. Мы не виделись с господином Аттолико больше месяца. Он обещал сегодня к нам притти, но ему дали какое-то поручение, и он неожиданно уехал.

— Стало быть, я ошибаюсь, — пробормотал Гордон. — Возможно, возможно. И ваша дочь не была вчера в гостях у Речгильда?

— У вас жар, Александр. Мы не выходили из дому...

Гордон увидел, как тихо приоткрылась дверь, как оттуда высунулась голова Анны, как она злобно подавала матери знаки. Он быстро и невинно пробормотал несколько прощальных слов и покинул дом. Спу-



саясь по лестнице, думал о том, что мера отвращения к этой женщине переполнена. Выйдя на улицу, он во второй раз дал себе клятву никогда не посещать дома Анны Бензен.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Снова Гордон сидит в кинематографе. Иногда он посещает Вильяма Партриджа. В Армянском квартале живет бедный адвокат-неудачник. Он беден, пишет длинные стихи на библейские темы, сам стирает свое холостяцкое белье, ухаживает за двумя масличными деревьями, растущими на его дворе, ждет случайного заработка. Каждые десять дней Гордон приносит ему в конверте фунт стерлингов. Он прячет эти расходы от жены, экономит на табаке, бритье и другой мелочи.

— Есть новости,— с восторгом восклицает каждый раз адвокат.

Он узнал, что в Лондоне готовится королевская амнистия. Надо сделать так, чтоб Гублер подпал под какой-нибудь пункт.

— Уж я добьюсь,— обещал Партридж.

Он бегаёт по канцеляриям, добывает справки, подшивает их, снимает копии.

В Иерусалиме — лето. Пусты водоемы, лениво кружится по улицам пыль, жизнь грустна.

Он снова опустился, стал раздражительным, проявляя чрезмерную чувствительность к мелочам и равнодушие ко всем высоким вопросам жизни. Однажды он отправился в резиденцию к губернатору. — «Вы хотите видеть сэра Речгильда?» — спросил дежурный офицер. — Обратитесь в канцелярию: он не принимает случайных посетителей». Гордон помнил слова Висмонта о правде и неправде и сказал офицеру, что его рекомендовала сэру Речгильду одна дама. — «Кто?» — спросил офицер. — «Анна Бензен». — «Не знаю», — сказал офицер и ушел, оставив его в дежурной комнате под наблюдением двух часовых-сигхов. Офицер вернулся

через десять минут. Он сдержанно улыбался. — «Стало быть, — спросил он, — вас рекомендовала Анна Бензен?» Гордон утвердительно кивнул, и тогда улыбка офицера стала менее сдержанной. «Сэр Речгильд просил передать, — сказал он, — что рекомендации указанной особы недостаточно»... То время было самым унизительным в жизни. Гордон стучался во многие двери, и никто его не принимал. В доме Аписа сказали, что он уехал, но сперва узнали фамилию и советовались в другой комнате. Гордон побывал и в Явне, но Илья Шухман не захотел его выслушать. Он вскричал: «Дезертир! если у тебя хватило наглости приехать к нам в колонию, то у меня хватит смелости сказать тебе: вон! вон из Явне». Висмонт писал часто. Он тоже надеялся на королевскую амнистию.

Кончилось лето, и Гордон как всегда, сидел в конторке кассы. Было мало посетителей, он скучал и советовался с родственниками жены: не отменить ли сеанс? Стоит ли портить фильм и тратить свет для двадцатикопеечных билетов?..

Буран улегся, сияло солнце, сквозь зимний холод люди чуяли запахи весны. Двадцать четыре человека сошли один за другим с трапа «Декабриста». Хана Гублер увидела сына, когда тот еще был наверху. Она пронзительно завопила и упала на руки стрелка. Вслед за ней закричала визгливым голосом мать матроса.

— Где Герш? Он приехал или мне показалось? Где мое дитя? — восклицала слабым голосом Хана.

Она билась в руках стрелка. Вся пристань беспорядочно шумела и кричала. И в ту минуту я увидел Александра Гордона. Он растерянно оглядывался, медленно спускаясь по трапу. Я узнал его, несмотря на то, что он был неузнаваем. Мой молодой друг носил теперь длинную бородку и роговые очки. Он держал в руках крохотный чехоланчик и был одет в легкое осеннее пальто. На голове — фетровая шляпа.

— Александр! — заорал я. — Александр!

Он заметил меня, рванулся через толпу, но рассерженный стрелок разъединил нас.



— Отойдите, гражданин,— сурово сказал он.— Стыдно! Кричите, как... Вы же не мамаша! Всю выгрузку испортили!..

Но через пять минут мы нашли в толпе друг друга. Мы расцеловались, и я забросал его вопросами.

— Потом,— отвечал он растерянно,— потом. Как ты узнал, что я приеду?

— Потом,— отвечал я растерянно,— потом.

Мы ничего путного не могли сказать друг другу. Я пробормотал:

— Тебе надо снять бороду, Александр.

— Бороду?— сказал он задумчиво.

— Ну да: ты станешь моложе.

— Ты тоже постарел,— сказал он оглядываясь.

Он искал своих спутников. Они пробивались сквозь тесную толпу, сквозь машины, подводы.

— Хорошо, я сниму бороду. Как ты живешь?

Скоро пристань опустела, и Гордон подошел со мной к своим попутчикам. Они стояли у своих чемоданов — черные, бородатые, нездешние люди. Они окружили рослого человека в шубе, представителя Озета, как я узнал после.

— Тише! — кричал рослый человек.— Сейчас будет автобус! Подождите!

— Где Герш Гублер? Покажи мне его, Александр.

— Гублер?.. — рассеянно переспросил Гордон. — Там... Покажу после. Хорошо? Послушай, ты знаешь, что такое Палех?

— Конечно.

— А миниатюры знаешь! Подожди. Не рассказывай. После расскажешь. Подожди.

— А твоя жена?

— Там,— ответил он, показав на море,— она осталась в Палестине.

Мы сели в автобус. Все жадно смотрели через оттаявшие окна, толкали друг друга.

— Это Карл Маркс? Да?

— Здесь же стояла Екатерина...

— Сабанеев мост! Смотрите, Сабанеев мост! Вот тут жил персидский шах...

Многие узнавали улицы и дома, где родились, жили, учились. Увидели шествие детей с барабаном — удивились. Увидели статую Ленина в нише бывшей Биржи, красный флаг над зданием, где была синагога Бродского. Все время удивлялись, толкая друг друга, что-то кричали, вспоминали.

— Герш,— услышал я голос Ханы Гублер,— ты должен теперь гордиться своей старухой. Я уже кончила все университеты. Ты можешь меня спросить насчет Эрфуртской программы.

— Потом, мама, потом!

И тут я в первый раз в жизни увидел Герша Гублера. Он был худ, изможден, но смугл и красив, как писал о нем когда-то Гордон. Я посмотрел на лысину Гублера и вспомнил, что мой друг изображал его многоволосым и кудрявым. Мать целовала ему руки, и сын краснел от стыда, но боялся, видимо, огорчать ее и безропотно принимал ее ласки.

— Сыночек,— сказала она и заплакала,— я тебя ждала, ждала, пока прошла вся моя жизнь...

Автобус кружил по городу, и нездешние черные люди никак не могли оторваться от окон. Узнавали Косарку, Толчок, Степовую, Водопроводную, Запорожскую.

— Арон! — закричал один. — Ты знаешь, где мы, Арон?

— Я знаю! Мы — дома!

— Мы — дома,— повторил третий. — Это же наша родная земля.

Я показывал Гордону, объяснял. Он должен помнить; здесь не было никакого сада. А Прохоровская улица? Она вся в цветах. Видел ли он когда-нибудь цветы на Прохоровской? Дом градоначальника? Его сломали. Да, он был на этом месте.

— Хорошо,— сказал Гордон,— я сниму бороду.

Когда нездешние люди немного успокоились, рослый человек из Озета сообщил им, что они пробудут здесь пять дней, потом поедут в Москву и оттуда — в Биробиджан. Их отправят с большой новой партией, на днях туда выезжают двести семей.



— Но как же Гублер? Как он вышел из тюрьмы?— не утерпел я.

Наконец наступило время для разговора. Мы сидим с Гордоном в кафе. Он смотрит, как люди убирают платан, поваленный ветром, и рассказывает.

— ...Я сидел в конторке, когда в кинематограф шумно вбежал Вильям Партридж. «Сэр,— вскричал он,— вы были у меня пять раз. Пять раз оставили у меня по фунту. Знайте же, что благородные деньги не пропали даром. Я почти уверен в счастливом исходе нашего дела». Я выслушал его и понял, что адвокат-стихоплет, действительно, придумал нечто остроумное.

Когда в Иерусалим прибыла комиссия по амнистии, Партридж с горестью узнал, что Гублер не подходит ни под один пункт, так как амнистия не касалась лиц, осужденных по государственным преступлениям, и королевский указ не мог ему принести никакого облегчения. Тогда адвокат вспомнил, что главным против Гублера было обвинение в агитации за друзей. Но дела друзей касаются Франции, а не Великобритании, и Вильям Партридж исписал множество бумаг, где доказал, что виновного должна была судить другая страна. Он называл дело Гублера судебной ошибкой и требовал либо выдать его Франции, либо выслать из пределов подмандатной английской территории. «Для нашей родины,— писал Партридж,— будет более достойным, если мы ограничимся высылкой. Наша родина давала и дает приют всем политическим эмигрантам. Станет ли она выдавать их сейчас? Никогда! Заключение — я утверждаю это с полной ответственностью — не причинил никакого вреда нашему государству. Простите, что я повторяю банальные истины, но забота о справедливости принуждает меня к многословию. Ваше превосходительство прислано сюда королем не карать, а миловать...»

Знал ли Гублер о хлопотах? Он не знает и сейчас. Вильям Партридж умолял Гордона ничего не сообщать заключенному. Он сказал: «Наша профессия покоится на логике, а узник Аккрского замка производит на меня впечатление человека эмоций. Врач никогда не



советуется с больным, и мать, собираясь родить, не спрашивает позволения у сына». Знал ли Ровоам? Гордон признался, что и от него он скрыл, каким путем добивается освобождения Гублера. Ему всегда был по душе непримиримый нрав Висмонта, но здесь он мог оказаться помехой.

— Он не знает о нашем возвращении на родину,— сказал Гордон.— Сегодня мы с Гублером ему напишем. Я и не мечтал, что моя жизнь вдруг так хорошо повернется... Работа адвоката оказалась удачной, и Гублер был вскоре освобожден. Я не успел нарадоваться, как получил весточку из Кадимо, что нам разрешили въезд в Советский союз. Нас ждут в Биробиджане. Колонисты говорят: «Мы им покажем, что тоже умеем работать. У каждого из нас по два паспорта — две руки, крепких и грубых». Я бы хотел, чтобы ты познакомился с ними: среди них есть прекрасные люди. Они ведь помогли мне включить в список отъезжающих и Гублера. Некоторые думают, что их здесь будут сторонить. Как ты полагаешь?..

Мы вышли из кафе, и, бродя по ясной Одессе, Гордон вспомнил старого колониста. Он был первый, кто захотел домой, но смерть преградила ему дорогу в обетованную страну. Так в древние времена встала она на пути легендарного Моисея. Старый колонист хотел знать, кто живет на даче Ашкенази, в конце Французского бульвара. Я показывал Гордону: дачу еврейской миллионерши соединили с дачей греческого магната Маразли и сделали санаторий для рабочих. Я знакомил его с шахтерами, в задумчивости бродившими над красноватым обрывом, заросшим ароматным терновником и высокими полынными кустами. «Кто живет в доме Блюмберга, Хаеса, Ксидиаса?» — спрашивал перед смертью старый колонист. Я рассказывал Гордону: в доме Блюмберга живут его приказчики и сорок студентов, приехавших из сел. Дом Хаеса также заполнен разным рабочим людом, а во дворце Ксидиаса находится Дворец труда. В магазинах Пташникова, Бомзе и Дубинского попрежнему торгуют мануфактурой, часами и колбасой; они называются кооперативами... Где



бывшие хозяева? Не знаю. Ропита уже нет, есть Советский Торговый флот, и им управляет Богун, бывший рабочий.купаются ли еще в Горячей Луже? Конечно, нет. Ее осушили, а наш народ уже не так глуп, чтоб искать целебных свойств в сточных водах. Сейчас он всюду: на лиманах и на фронтах, на всех золотых, бархатных, изумрудных, отрадных, ясных и уютных пляжах. Играет ли еще Эстер Каминская? Нет, ее не слышно. Далеко уехала или умерла,— не знаю. Вряд ли сейчас взволнует кого-либо судьба Миреле Эфрос, гордой хозяйки дома. Но актрису помнят и вспоминают с любовью... Старый колонист спрашивал: что на Бугаевке, на Косарке, на Полях Орошения? Что ж, Косарка — в цветах, а Поля Орошения уже не принадлежат болгарским купчикам: там — большой совхоз. Бугаевка попрежнему сера и неустроена. В Городском театре — украинская опера. Тенор Селявин уже не поет, ушел на покой. Отдыхает от полувековых трудов и главный дирижер Прибик. Старик Столярский продолжает выпускать талантливых мальчиков. Вы, должно быть, слышали у себя про Эмиля Гилельса и Бусю Гольдштейна. На Джутовой фабрике делают, как и в старину, стальные и пеньковые канаты для кораблей. Дерутся ли там? Не тот рабочий, не те жены, не те игры, не те нравы. Иные школьные товарищи кончили университет; кто ушел в армию, кто стал директором, инженером. А колодец на Мясоедовской, 14, забросали землей и камнями. И дом Маразли, и мельница Инбера, и фабрика Попова, и морские ванны Тригера, и земли Ковалевского, и дачи Прокудина, Синицына, Натансона, Цудека — все принадлежит одному хозяину... Множество перемен, Александр.

— А помнишь, на Слободке было кладбище для самоубийц?

— Городских сумасшедших помнишь? Марьяшеса с его тростью? Хаву, которая с утра до вечера мыла руки? Гершеле Полоумного с его коляской?..

Неожиданно Гордон перебивает наш разговор, полный воспоминаний.

— Когда пароход шел обратно из Яффы,— говорит



он задумчиво, — мы не могли насмотреться на команду. Евреи с Молдаванки стали матросами и механиками! Вы, должно быть, привыкли к таким вещам?

— Давно, — сказал я и смутился, разобрав в тоне своего ответа ноты превосходства.

— Черное море не хотело нас пустить, — продолжал Гордон. — Какой ураган! Море не шумело, а вулканизировало. Надо сказать, советские евреи выдержали испытание лучше библейских. Они боролись со шквалом, как великаны. Неужели с тех пор как я уехал, на нашей Молдаванке, среди ее тщедушных обывателей, завелись великаны? Ты видишь, я тебя послушался: снял бороду. Посидим на скамейке. Помолчим. Я хочу написать письмо Ровоаму Висмонту.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Каждый из вас, кто посетит Биробиджан, может захватить в колхоз «Наша правда». Он расположен недалеко от областного центра. Вам скажут: дела колхоза идут хорошо. Там, среди ста десяти семейств, вы найдете и земледельцев из Кадимо. Говорят, Гублер женился на амурской казачке, и два народа — русские и евреи — устроили знатную свадьбу, где много ели и пили, так что и по усам текло и в рот попадало. Говорят, танцевали всю ночь, и даже старики отплясывали то комаринскую, то фрейлехс. У председателя сохранились снимки. Вы можете их посмотреть.

А Биробиджан уже не тот, каким я видел его в 1929 году. В таежной станице горят огни, работают фабрики, сквозь тайгу проложены шоссе... Наконец в Биробиджане есть Еврейский театр. Если вам понравятся прекрасные декорации, не удивляйтесь и знайте: здесь работает декоратором Александр Гордон. Но о второй жизни Александра Гордона я расскажу в следующей книге.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

### ЧАСТЬ I

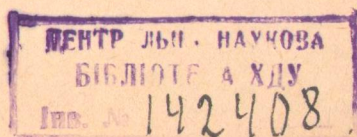
Глава первая . . . . .	7
Глава вторая . . . . .	18
Глава третья . . . . .	24
Глава четвертая . . . . .	31
Глава пятая . . . . .	35
Глава шестая . . . . .	42
Глава седьмая . . . . .	50
Глава восьмая . . . . .	60
Глава девятая . . . . .	67
Глава десятая . . . . .	73
Глава одиннадцатая . . . . .	78
Глава двенадцатая . . . . .	87
Глава тринадцатая . . . . .	95

### ЧАСТЬ II

Глава четырнадцатая . . . . .	111
Глава пятнадцатая . . . . .	118
Глава шестнадцатая . . . . .	131
Глава семнадцатая . . . . .	40
Глава восемнадцатая . . . . .	150
Глава девятнадцатая . . . . .	156

### ЧАСТЬ III

Глава двадцатая . . . . .	169
Глава двадцать первая . . . . .	175
Глава двадцать вторая . . . . .	182
Глава двадцать третья . . . . .	188
Глава двадцать четвертая . . . . .	195
Глава двадцать пятая . . . . .	203
Глава двадцать шестая . . . . .	211
Глава двадцать седьмая . . . . .	220
Глава двадцать восьмая . . . . .	229
Глава двадцать девятая . . . . .	236



Редактор М. Алексеев  
Технический редактор Безмертная  
Корректор Т. Гончарова

\*

Переплет художника Н. Цейтлина

\*

Сдано в набор 5/1 1936 г.  
Подписано к печати 22/III 1936 г.  
Зак. изд. № 5. X-11. Зак. тит. № 2  
Учет.-аят. 12,38 Тираж 10 000  
Форм. бум. 82×110  $\frac{1}{32}$  п. л. 15  
Уполном. Главлита Б-16985

\*

Отпечатано на бумаге  
Окуловского писчебум. к-та

\*

Цена 2 р. 75 к.  
Переплет 50 к.

\*

11-я типография и школа ФЗУ  
Мособлполиграф



# О П Е Ч А Т К И

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует читать</i>
62	12 св.	Халуции	Халуцим
92	19 св.	приду	приеду
93	3 сн.	Вспомнил	Вспомнили
98	19 сн.	горы	воры
128	1 св.	от	до
149	14 св.	семьдесят	восемьдесят
158	8 сн.	Шамалья	Шамайя

Г е х т. „Пароход идет в Яффу и обратно“.





